

Петр Боборыкин

Жертва вечерняя



Петр Боборыкин
Жертва вечерняя

«Public Domain»

1868

Боборыкин П. Д.

Жертва вечерняя / П. Д. Боборыкин — «Public Domain», 1868

© Боборыкин П. Д., 1868

© Public Domain, 1868

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Петр Дмитриевич Боборыкин

Жертва вечерняя

Роман в четырех книгах

КНИГА ПЕРВАЯ

6 ноября 186 ч., Вечер. – Суббота.*

Вчера мне было особенно как-то тоскливо. Сегодня, с утра, у меня разболелась голова. Семен меня уверял, что он хорошо вытопил; но я знаю, что это от угара. Боже мой! Может ли быть что-нибудь скучнее петербургского глухого вечера? Да еще на Английском проспекте. Подойдешь к окну: дождик и темень...

Нынче суббота. Я хотела ехать в Михайловский театр с Софи. Она была сейчас у меня; разбранила меня. Все знают, что я езжу на субботние бенефисы. Никто, разумеется, не завернет. Тоска!

Какой дрянной мальчишка мой Володька! В кого он такой? – Не знаю. Я, кажется, была верна его родителю. Плакса, нюня. Сейчас являлся прощаться с нянькой. Я не знаю, что в них хорошего, в таких ребятишках по второму, по третьему году? Ревут, шлепаются по всем комнатам...

Читать мне не хочется... Прислал мне Исаков какие-то глупые книжонки. Третьего дня я заехала и говорю мальчику Сократу: пожалуйста, не давайте мне этого Гондрекура. А он все-таки прислал. Да, впрочем, все равно. И в Жорж-Занде нынче такая чепуха. В божественность ударились.

Мне очень досадно, что я не в Михайловском театре. Деверия должна нынче канканировать. В прошлую субботу я так хохотала. Старик Верне пресмешно был одет в солдатский мундир и красные панталоны. В пятой фигуре он выделял соло... Недавно я видела Лелеву: давали "Десять невест". После французов это – детские танцы. Мне бы хотелось увидеть настоящий канкан. А где его увидишь? Поехать на пикник... Или попасть к Огюсту, когда приедут мужчины с французженками?

Я себе дала слово познакомиться с Clémence. Непременно познакомлюсь. В первый же театральный маскарад возьму дурака Кучкина и скажу ему, чтоб он нас свел.

Голова болит, а спать не хочется. Я думаю, если б теперь даже самый последний идиот, хотя бы тот же Кучкин, явился собственной персоной, я бы его обворожила любезностью, – так мне скучно. Ровно два года тому назад, такой же глухой осенью, в той же самой квартире я жила с моим Николаем. Какой он здоровый был в ту пору. Я таких здоровяков совсем и не вижу в нашей мизерной молодежи. Как это странно: много я об нем плакала, чуть чахотку не схватила, а ведь по правде сказать, вряд ли я его любила как следует. Я и теперь не знаю, нравилось ли мне в нем что-нибудь или нет? Была я дура девочка, большая и упитанная. Подводят ко мне на Липецких водах гвардейского адъютанта. Я уж теперь хорошенько не помню, но кажется – он с первого разу так мне сильно сжал руку, что я чуть не пискнула. Не знаю, говорил ли он мне что-нибудь про себя, когда ухаживал. Все, кажется, больше поводил зрачками. Мне сразу стало страшно его. Я сейчас же всем своим телом поняла, что это такое значит, когда мужчина так на вас смотрит. Мне решительно все равно было: выйти замуж за Николая или что-нибудь такое сделать другое, только бы он не крутил глазами. Так я и вышла за него замуж. Он был такой неистовый в своих ласках, так все и кидался... Никогда я не помню, чтобы мы с ним о

чем-нибудь толковали серьезно. Это была какая-то "белиберда", как говорит Софи. Выезжали, целовались. Мне до сих пор противно, как много целовались. Кто это выдумал глупое слово: медовый месяц? Какая пошлость! Я ничего пошлее не знаю. Если все новобрачные так живут первый год, как я жила с моим Николаем, – поздравляю их. Ни одной мысли, ни одного умного слова. Так, какие-то животные прямо! А был он очень добрый человек, даже неглупый по-своему. Да что за толк в одной доброте? Ведь и я не злая, а какой во мне толк? Добрая баба, добрая зебра, добрая лошадь, добрый малый... Я где-то недавно читала: на каком-то острове в Австралии одна половина жителей съела другую. А ведь тоже, я думаю, и между ними были добрые люди... Когда Николай умирал, мне некогда было плакать. Он не умер, он вдруг сгорел, точно какой газ. В три, четыре дня его не стало. Он мне ничего не говорил. Он только сердился на свою смерть. Я совсем и не взвиделась, как осталась вдовой. Наши женские слезы – дешевый товар. Мне, разумеется, было его жалко. Жалко, жалко... Опять глупое слово. Кого же и чего не жалко? Может быть, гораздо жалче, – что мы, дуры, делаемся матерями не зная зачем; оттого только, что гвардейскому адъютанту понравятся наши "перси". Какое смешное слово. Я его где-то вычитала в русских стихах. Я думаю даже, что если б этих самых "персей" у женщин не было, мужчины были бы гораздо умнее.

Мне совестно стало, что Николай оставил мне все свое состояние, пожизненно. Я не мотовка, а не знаю, много ли я скоплю для кислого Володьки. Ждать его совершеннолетия – куда еще далеко... Софи мне говорит как-то: "Ты, Маша, большую глупость сделаешь, если будешь торопиться опять выходить замуж". Откуда она взяла, кто ей сказал, что я тороплюсь? Вот тебе раз! Когда я вернусь домой и лягу, я иной раз просто с ужасом вспоминаю о моем замужестве... А кумушки глядели на нас да приговаривали: "какие голубки". Разве может быть что-нибудь гаже: сознавать, что вы существуете на утеху икса или игрека, которому вы для этого только и нужны. А живи я с Николаем, и тянули бы лобзания, пока бы я не сделалась толстой и старой бабой. Теперь мне, по крайней мере, просторно; никто не мешает... Это – чистое благодеяние!

Что это, как я расписалась? В висках у меня стучит. Ни с того ни с сего на глазах слезы. Должно быть, мне уж чересчур тоскливо, или это от лампы. Кажется, Володька захныкал. Пойду и отшлепаю этого скверного мальчишку; а то он всю ночь будет куksить.

Хоть бы я увидела какого-нибудь дурака во сне. Сплю я, как мумия. Еще месяца четыре, и все лифы надо будет бросить. Ариша и то говорит мне сегодня: "Вам бы, Марья Михайловна-с, немножко похудеть". Она вот не толстеет: обзавелась, кажется, какими-то амурами из саперного батальона. Слава Богу, начинаю зевать. Теперь странички две Гондреккура, и лучше Доверова порошка.

7 ноября 186* Ночь. – Воскресенье.

Получила письмо от Степы из Парижа. Какой славный мальчик. Я его называю мальчиком; а ведь он гораздо старше меня. Я думаю, маковка уже начинает редеть. Я на него сердита за то, что он там все торчит, за границей. Не может, видите ли, жить здесь. Всех нас бранит идиотами и дурами: не могу, говорит, дышать в вашем петербургском зловонии. «У вас, говорит, только лакеи да кретины». Впрочем, он, кажется, много изменился. Я его года уже два не видала. Видно, что он очень много работает. Ничего я не понимаю подчас, что он мне пишет. Иной раз чепуха какая-то, т. е. не то что чепуха... надо знать в чем дело, а я не знаю.

Он мне как-то пишет, давно уже, скоро после смерти Николая: "Голубчик мой, Машенька, я прозрел". Куда он прозрел и что такое? – не знаю; да я потом и не спрашивала. Он бы настроил мне страниц восемь. Чистое мученье разбирать его руку. Прямой физикус. Я ведь ничего не читала из его сочинений. Мне обещались достать. Да где их добудешь, русских журналов? Право, гораздо легче достать какой-нибудь: "Journal de Constantinople". Я слово скажу

черномазенькому турку из посольских эффенди, или как там их, не знаю... Он мне целый воз привезет турецких газет, а русских журналов я, право, не знаю где добыть.

Степа пишет мне:

"Соскучился я о тебе, друг мой Машенька. Надо наконец вернуться на лоно отечества. Съезжу только к своим глупым, но добрым немцам, а там, если что-нибудь особенное не задержит, к новому году жди меня".

Я очень рада видеть Степу. Я всегда его любила. Только... только я одного боюсь: чтоб он не очень умничал. А то ведь эти философы, эти красные, знаю я их... что за охота чувствовать себя девчонкой и выслушивать разные рацеи? Да ведь я не посмотрю, что Степа и умный, и ученый...

Все равно, если б он приехал сейчас, сегодня, я бы ему бросилась на шею. Хоть бы один свежий человек, а то эта осень совсем задушит меня.

Степа, кажется, недолюбливал моего Николая, т. е. не то чтобы недолюбливал, а смотрел на него свысока. Офицер! Вот что он, наверно, говорил про себя. Он и со мной мало толковал тогда. Больше в переписке мы сошлись. И как это странно: писал мне целые пакеты, а я ведь очень мало знаю его жизнь. Неужели он весь свой век останется холостяком? Кажется, у него и не было никакой любовной истории. О Париже он все пишет, что у француженек вместо сердца – медный пятак. Скромничает, я думаю, а сам, поди, под шумок бегаёт за разными... Он мне все расскажет, как вернется. Впрочем, он, кажется, плох по любовной части. Он все рассуждает; а с женщинами это совсем не годится. Ведь вот есть же у нас такие славные люди, как Степа. Да ведь он в свет не ездит. И не поедет. Разве я вытащу когда-нибудь насильно. Эти господа все таковы. Вместо того, чтобы браниться, они бы являлись в хорошие дома и прочищали бы воздух. А то просто одурь берет, когда посидишь с каким-нибудь Кучкиным. Да и все они на один подбор. Еще посольские немножко получше. Их Софи называет: *les garçons d'ambassades*¹. Это очень мило. Из немчиков есть двое, трое – красивые. А французы совсем цирюльники. У всех одна и та же фраза:

– *Madame, on ne vous voit nulle part!*²

Степа поделом их называет идиотами. Ну что может быть отвратительнее Паши Узлова? Какое животное! Я не знаю отчего, но когда он ко мне подходит, точно какая гадина подползет. Этаких людей женщинам совсем не следует и принимать. Как-то я с ним танцевала мазурку. Что он такое мне говорил! Есть книжечка: "*Un million de calembours*";³ так он оттуда все выкрадывает. И ржет, как какая-нибудь лошадь, после каждой глупости. Я еще удивляюсь, как мы рукава не кусаем с такими мужчинами.

Старикашки – все лучше. В тех хоть есть старомодное селадонство; по крайней мере смешно. Я даже люблю иногда стравить их, чтоб они при мне рассуждали о делах. Я ничего не понимаю, но этого совсем и не надо. Женщине, если она не окончательный урод, ничего не стоит красиво отмалчиваться. А они так из кожи и лезут: щегольнуть передо мной своими министерскими головами.

– "Все суета сует", – как говорил мой Николай, когда чего-нибудь не понимали. И таки частенько приходилось ему повторять эту фразу.

А ведь я опять сегодня дома. Теперь уж я вижу, что это не от угару. Чем бы мне прогнать несносные головные боли? Мне и принимать никого не хочется. Софи рыщет по городу. Нет, чтобы со мной посидеть. Ах, какая она пустая бывает днями, просто страшно за нее становится. Посмотришь ей так прямо в глаза и спросишь себя: "Что у нее там: есть что-нибудь в голове, или один пар?.." Когда я была маленькая, нянька Настасья говорила мне, что у кошек пар, а

¹ посольские мальчики (*фр.*).

² Мадам, вас нигде не видно! (*фр.*).

³ «Миллион каламбуров» (*фр.*).

не душа. Иногда вот так мне и кажется, что у Софи пар... а добрая. Опять мне попадаетея это глупое слово! Я бы вот хотела быть злой, Мегерой какой-нибудь, только бы не тянуть такой белиберды.

Володька опять хнычет. Нынче непременно высеку!

Софи заезжала и сказывала, что вчера в Михайловском театре канкану не было. Ну и прекрасно.

9 ноября 186* Полночь. – Вторник.

Сегодня я поехала в гостинный двор. Погода была получше. Я отослала Федора и вернулась пешком. Захожу к Софи. В передней я не обратила внимания: висит ли чье-нибудь пальто или нет. Я прошла залу и круглую гостиную. В кабинете Софи я остановилась посредине комнаты.

Сначала, по близорукости, я хорошенько не рассмотрела... Стул скрипнул. Я подалась вперед и обомлела: Софи сидит на коленях у Кучкина.

Боже мой! Всего я от нее ожидала, но этакого ужаса никогда! Я даже представить себе не могу, что можно взять в любовники обезьяну в Преображенском мундире!

Они разлетелись в разные стороны. Я не покраснела, но мне сделалось ужасно досадно на Софи. Эта мартышка Кучкин туда же хотел меня поразить хладнокровием. Софи растерялась, как девчонка. Я посидела минут десять и ушла.

Разумеется, через полчаса явился посланный от Софи с запиской, где она умоляет вернуться к ней хоть на несколько секунд. Я поехала.

– Что ты так волнуешься, – говорю я ей. – Ты точно просишь у меня прощения.

– Ты меня презираешь! – И в слезы. – Но ты не знаешь, каких жертв стоит женщине такой шаг...

Тут я не вытерпела. Напела-таки я ей. Ее дело вешаться на шею такому болвану, как Кучкин; но я слышать не могу, когда наши барыни строят нелепые фразы о своих жертвах и страданиях.

Взять хоть бы Софи. Вывозили ее шесть зим сряду. Кроме тряпок и всякого вздору у нее никогда не было ничего в голове. Вышла она замуж, как я же, не зная зачем; гораздо даже хуже: я была девчонка, а она "подлечок"; как говаривал мой Николай. Муж ее не только к ней не подходит, но и сам к себе как-то до сих пор приладиться не может; тяжелая, сухая фигура, штатский генерал, департаментский экзекутор со звездой, вот что он такое. Коли уж соглашаешься возложить на главу венец "от камня честна" с таким экземпляром, так ясно, что начнешь в первый же год искать утешений на стороне.

Взять в любовники Кучкина, значит – потерять к себе всякое уважение... Да и это слишком громко! Значит – быть довольной первым попавшимся идиотом, только бы он был мужского пола. Ну, и прекрасно; зачем же тут гримасничать и повторять нелепые фразы, морочить и себя, и людей? И как будто одна Софи? Все у нас таковы, наши барыни. Не то, что уж замужняя женщина, а вдова, мирской человек, от безделья или от других причин, я уж не знаю, обзаведется каким-нибудь кавалергардом или лицеистом и сейчас же давай его обращать в крепостное состояние.

– Я загубила себя, я пожертвовала всем, ты должен быть мне верен на веки!

Что она загубила? Чем пожертвовала? Сама, иной раз, зимы две сряду обнажала свои плечи, только бы кто-нибудь приударил.

Боже мой, как противно! Я все прощу и мужчине, и женщине: самую гадкую безнравственность; но только не это вранье! И есть ведь дураки: начинают верить, что действительно женщина принесла им жертву, что на них накинута петля и нужно им на веки вечные посту-

пить в крепостное услужение к своим любовницам. Не знаю, много ли их, этаких идиотов; но если бы они не водились, и женщины перестали бы манериться!!!

– Да ты его любишь? – спрашиваю я у Софи.

– Люблю.

– Чем ты его любишь?

– Как чем?

– Неужели сердцем?

– Ах, *ma chère*⁴, если ты меня будешь так допрашивать, лучше оставим это.

Так зачем же она за мной посылала? Слушать излияния любви к г. Кучкину – я не способна. Бросить его она, кажется, не имеет желания... Стало быть, одна глупая болтовня.

– Поступай, как знаешь, – отрезала я ей. – Он тебе нравится. Ну, и целуйтесь с ним. Только, пожалуйста, не рисуйся предо мной, Софи. Я о твоих страданиях знать не хочу, потому что их не было, нет и не будет. Как Кучкин ни плох, а все-таки поймет, что тебе в нем приглянулась его бабья рожица, и больше ничего. Впрочем, если ты его приструнишь, я буду рада. Дурака оставлять без розги нельзя.

Софи просто позеленела. Но она сердиться долго не может. Да и вряд ли она что-нибудь поняла.

Я ушла от нее взволнованная. Обращать ее на путь истинный – я не желаю. Я вижу теперь: она такой всегда и останется. Но во мне зашевелился упрек: зачем я приближала к себе такую женщину? Ведь она олицетворенная пустота! Я не знаю, мне ее все-таки жалко. Глупо было бы требовать от нее каких-нибудь добродетелей. Рано или поздно я должна была наткнуться в кабинете Софи если не на Кучкина, то на X, на Y, на Z.

Этот маленький скандалик мог бы ведь и со мной случиться. Кто мне сказал, что я застрахована от связи с каким-нибудь Кучкиным? Одна только разница и есть, что я вдова и не надувала бы мужа.

Надувать – неизящное, но хорошее слово. Как там не мудрствуй; а даже, я думаю, и Кучкин смотрит на Софи свысока, если только рассуждает сам с собой. Нашим барыням, конечно, ничего не стоит постоянно лгать и жить с двумя мужьями. Но если бы любовники их не были так глупы, они бы сами отучили их от этих пошлых интрижек.

Ха, ха, ха! Для кого же это я проповедую? Или мне досадно, что у Софи есть хоть Кучкин, а у меня никого нет?... Голова опять болит...

11 ноября 186* Вечер. – Четверг.

Софи была у меня и плакалась. Мне совестно за нее. Я ведь не приставлена к ней менторшей. Что она строит неверности своему супругу, в этом нет ничего удивительного... Вчера я об ней долго думала. Мне кажется, что во всех таких случаях, когда вас что-нибудь поразит, в поведении кого бы то ни было, виноват не тот человек, а вы. Вольно же мне было предполагать, что если Софи возьмет себе любовника, так уж не такую фатальную фигуру, как Кучкин. По правде сказать, я и не думала прежде о Софи сколько-нибудь серьезно... Вперед наука!

Начинается зима. Неужели пойдет опять такая же канитель? Спать до одиннадцатого часу, гостиный двор, магазины, Невский, визиты, Летний сад и Английская набережная, коньки, понедельники в опере, субботы в Михайловском и потом пляс, пляс и пляс с разными уродами.

Ну, а если б этого не было? Веселей бы не стало.

Впрочем, попадаютса курьезы... Вот, например, вчера я очень смеялась. Есть здесь барыня, Плавикова. Я ее и в прошлом году встречала, но редко. Она лезет в большой свет, из

⁴ моя дорогая (*фр.*).

всех сил выбивается. Это бы еще ничего. Но она страдает ученостью, собирает у себя сочинителей каких-то, не знаю уж каких... Да и это бы еще ничего.

Я была на маленьком вечере у Порошиных. Было недурно: секретарь посольства был, наш русский, откуда-то, чуть ли не из Рио-Жанейро, два, три лицеиста, ну, разумеется, "le beau brun" ⁵. В маленькой гостиной сидели мы в кружке. Поль Поганцев вертелся и представлял нам, как жандарм осаживает лошадь на гулянье. Мы все хохотали.

Была тут и Плавикова. Она, разумеется, сидела, сжавши губы. Сложена она, как кормилица. И все жантильничает: головку направо, головку налево...

Вдруг среди общего молчания обращается ко мне:

– Какую я прелестную статью прочла вчера о Спинозе.

– О чем? – чуть не вскрикнула я.

– О Спинозе.

И глядит на меня, улыбаясь во весь рот... Спиноза! Что это такое Спиноза? Меня просто взорвало. Этакая дура? Однако я покраснела, кажется.

Меня выручил Поль.

– Вы не читали Спинозы, – начал он паясничать. – *Que je vous plains, madame* ⁶.

Все рассмеялись.

Плавикова хоть бы моргнула. Сидит и млеет как купчиха.

Меня это и смешило, и раздражало. Я все-таки не знала, что такое Спиноза; а спрашивать у этой педантки я, конечно, не желала.

Все разбрелись. Я таки взяла и осталась со Спинозой. Хотела напотешиться над ней хорошенько.

– Где же вы прочли статью? – спросила я тоном смиренной девочки.

– Если хотите, я вам пришлю.

И опять улыбается как купчиха. Она совсем, кажется, и не поняла, что ее подняли на смех.

– В журнале каком-нибудь?

– Да, в *Revue des deux Mondes*. Я могу вам дать и Куно Фишера.

Это меня окончательно взбесило.

Спиноза, Куно Фишер, – что это за звери такие?

– Я ведь в ученость не пускаюсь, – сказала я ей, как Николай мой выражался, "в упор".

– А вы разве меня считаете ученой?

– Вы говорите о таких предметах...

– Ах, Боже мой, кто ж этого не знает.

Я пересилила себя и выговорила:

– Да вот я не знаю, первая.

– Вы, может быть, забыли?

Этот вопрос отзывался, кажется, насмешкой. Взглянула я на нее: улыбка телячья, но не язвительная.

– Я не могла забыть, потому что я никогда и не слыхала про вещь, которую зовут Спинозой.

– Вещь! Ха, ха, ха!

Впрочем, она сейчас же удержалась, положила мне руку на колени и немного отеческим тоном проговорила:

– Есть много интересных предметов... на них не обращают внимания в свете. Я вам пришлю эту статью: она очень мило написана.

⁵ красивый брюнет (*фр.*).

⁶ Как мне вас жаль, мадам (*фр.*).

Из деликатности Плавикова не сочла нужным обучать меня тому, что такое Спиноза. Деликатность деликатностью, а мне все-таки было досадно, что я осталась ни при чем, не умея даже сообразить: что бы это такое было "Спиноза"?

– Мы с вами встречаемся, – заговорила сладким тоном Плавикова, – а совсем почти незнакомы друг с другом.

– Помилуйте, я буду очень рада, – сболтнула я, не знаю зачем.

Эту фразу она выговорила, краснея и пожимаясь. К ней жантильность идет, как к корове седло. Тут я почувствовала, что над этой женщиной следует смеяться. Я сидела перед ней, как невежда; но я была все-таки искреннее.

– Вы много читаете, – сказала я ей и тотчас же подумала: если ты, матушка моя, возишься все с учеными и сочинителями, так зачем же ты обиваешь пороги у всех, только бы тебе попасть в большой свет?

– У меня есть свой особый кружок, – запела она и завертела головой. – Я не могу расстаться с воспоминаниями своей молодости. Когда покойник Тимофей Николаевич бывал у нас в Москве, он всегда говаривал: "И в шуме света не забывайте вечных начал правды, добра и красоты".

Какой Тимофей Николаевич? Это было хуже Спинозы. Спиноза, по крайней мере, Бог его знает, что-то такое иностранное. Я имела наконец право *faire de se Spinoza*⁷, но этот Тимофей Николаевич, вероятно, какая-нибудь знаменитость наша, русская. Плавикова мне не прибавила даже фамилии. Вся кровь бросилась мне в голову.

"Ну, подумала я, коли на то пошло, я, милая моя, не выдам тебе того, что не имею ни малейшего понятия о твоём Тимофее Николаевиче".

– Так вы его знали? – спросила я.

– Еще бы! – вскрикнула она, и зрочки у нее совсем закатились. – Помилуйте, он был как свой в нашем семействе и Кудрявцев тоже; Кудрявцев учил меня истории. Какое время! Я его никогда не забуду. Бывало, сойдется Тимофей Николаевич у нас с Алексеем Степанычем...

У меня сделались судороги в пальцах. Я возненавидела этого Алексея Степаныча. А ведь тоже какая-нибудь знаменитость? У них, верно, там в Москве знаменитостей дюжинами считают.

– Какой ум! – разливалась Плавикова. – Переспорить его нельзя было; но сердце льнуло всегда к тому, что говорил Тимофей Николаевич. Я не могу без слез об этом вспоминать.

Экая противная! Как мне хотелось в эту минуту оборвать ее. Но как? Надо было хоть что-нибудь знать о всех этих Тимофеях Николаевичах, Алексеях Степановичах, Иванах Ивановичах, не знаю уж как их там по батюшке!

– Заверните ко мне, – вдруг повернула Плавикова на приятельский тон. – Вы такая милая. У меня по четвергам всегда кто-нибудь, *de la république des lettres*⁸. Мой муж не любит этого. Он находит, что я синий чулок. И вы тоже находите. Я знаю. Но мы сойдемся. Я вижу.

Так и сыплет, точно царица на театре: "я знаю, я вижу".

– *Enchantée*⁹, – пробормотала я, видя, что Плавикова встает.

Мне не хотелось выпускать ее. Еще две, три секунды, и я бы совладала с собой; я начала бы ее вышучивать.

Плавикова подняла на меня еще раз "томительные взоры", пожала руку и поплыла в большую гостиную.

⁷ пренебречь этим Спинозой (*фр.*).

⁸ из ученого сословия (*фр.*).

⁹ Я в восторге (*фр.*).

Я осталась. Села даже на ее место у столика, где стояла вазочка с конфетами. Мне было совестно. Да, совестно. Я ела конфеты, как девчонка, которую высекли. Если бы можно было, я сейчас бы уехала, никому не показываясь.

"Да, – повторяла я, – положим, что эта Плавикова дрянь, что у нее больше тщеславия, чем во всех нас, больше, чем в Софи, и над ней следует смеяться. Но мне от этого все-таки не легче. Какая бы она там ни была, смешная или нет, искренняя или фальшивая, она все-таки читает о Спинозе, а я даже не имею понятия о том: зверь это какой, человек или наука? Да еще Спиноза не беда. Но у нее есть воспоминания. Не может же она бесстыдно лгать. Этот Тимофей Николаевич, этот Алексей Степаныч: она их слушала девочкой. Ее учил истории какой-то г. Кудрявцев, вероятно тоже знаменитость. Как бы она ни была пуста, она жила чем-нибудь, кроме тряпок и острот Паши Узлова, Поля Поганцева и преображенца Кучкина. Положим даже, что она рисуется, положим даже, что она ведет себя глупо в гостиной, тычет всем в глаза своих Спиноз и Алексеев Степанычей; но если ей это нравится?! Ведь вот я играла же самую жалкую роль перед нею, хоть и хотела поднять ее на смех".

Я солгала, написавши, что встретила в Плавиковой потешный курьез. В сущности ничего тут нет смешного. Я и Плавикова на Невском, в театре и в гостиной – веселимся одинаково. Может, и надо мной смеются, как над нею. А она кроме этого имеет у себя интимный кружок каких-то уродов, "la république des lettres", как она изволит выражаться. Собирает, вероятно, голодных сочинителей, кормит их; они ей пишут стихи, она перед ними жантильничает... и довольна, и счастлива! Шутка сказать! У нее есть занятия, по крайней мере. Она, я думаю, перед своим четвергом учит наизусть статьи, выкапывает разных Спиноз, чтобы не ударить себя лицом в грязь перед своей *république des lettres*.

Вот передо мной две женщины: Плавикова и Софи. У одной есть сочинители, у другой офицер Кучкин. А у меня?..

Ехать мне в четверг к Плавиковой? Глупости! Что я там буду делать? Сидеть дурой и хлопать глазами, когда будут вспоминать разных Алексеев Степанычей. Благодарю покорно.

Разумеется, я там не знаю этих сочинителей; они, вероятно, большие замазашки, но все-таки они должны быть занимательнее наших *garçons d'ambassades* и недорослей из дворян.

Если б я и решилась поехать, то разве на несколько минут поглядеть, как хозяйка драпируется в своем *Hôtel Rambouillet*... Я читывала про этот *Hôtel*. Были же ученые женщины. Задавали всем тон. И никто над ними не смеялся. Вероятно, там говорилось не раз и о Спинозе. Так ведь то во Франции.

Кто же это Спиноза? Поеду завтра к Исакову и скажу Сократу, чтоб он мне сейчас же отыскал номер *Revue des deux Mondes*, где этот Спиноза; а если журнал отдан, достал бы мне со дна морского такую книжку, где бы все было рассказано о Спинозе.

18 ноября 186* Два часа ночи. Четверг.

Я, право, не *бегала* за этой Плавиковой; но она сама опять пристала ко мне.

Отнекиваться было глупо. Обижать мне ее, в сущности, не из чего. Она ведь надо мной не смеется. Я думаю даже, что она и не сумела бы смеяться. Она слишком проста.

Да, я вернулась с вечера, где собралась *la république des lettres*.

Начать с того, когда я решилась ехать, вопрос: как одеться? – остановил меня. Если там все будут одни мужчины, надо надеть темное платье, даже черное. Недурно показать полное презрение к замазашкам-сочинителям. Да и потом, явитесь вы в хорошеньком туалете и вдруг ни один из этих уродов не догадается даже надеть белый галстук? А если там будут и женщины? Я очень волновалась.

Плавикова со своим Спинозой болтала у меня битый час Бог знает о чем, опять проследилась, вспоминая своего Тимофея Николаевича, и хоть бы слово о туалете. Просто дура.

Я, однако, добилась-таки, кто такой Спиноза. Во-первых, Плавикова прислала мне *Revue des deux Mondes*; а во-вторых, у Исакова мне выкопали книжку: целый роман из жизни Спинозы.

Теперь я знаю, что это его фамилия; а звали его очень смешно... Барух! Бог знает какое имя! Оказывается, ни больше ни меньше, что он был великий философ, давно что-то, тогда еще, когда и немцы не выдумали философии. Милее всего: он был жид. Я уж никак не полагала, что у жидов есть своя философия. Из статьи *Revue des deux Mondes* я, признаюсь, очень мало поняла. Скука смертельная. Кто это пишет статьи в *Revue des deux Mondes*? Слова французские, а каждую фразу надо перечитать раз пять, пока доберешься до какого-нибудь смысла.

Да-с, этот самый Спиноза был жид. Поняла я, что он первый сочинил какой-то "пантеизм". Во всем у него был Бог, а в то же время оказывается, что жида проклинали его за безбожие.

Вообще это для меня китайская грамота.

Мне понравились только некоторые подробности. Он был даже влюблен, этот философ. Ел он каждый день на несколько копеек хлеба, молочка и записывал все в книжечку, сколько он каждый день тратил. Какой чудак!

Нет, я не Спиноза. Чувствую, что Семен меня обкрадывает, но ничего не записываю. Да, вот еще что... философия его бы с голоду уморила. Он только тем и жил, что полировал стекла для зрительных трубок.

Ха, ха! Если б теперь меня оставить без копейки денег и посадить за шитье? Шить-то бы я шила, может быть; но книжки сочинять, выдумать целый пантеизм...

Таких людей теперь уж нет.

Еду я к Плавиковой. Надела черное платье и кружевную мантилью. Оно немножко театрально; но для ее уродов так и надо, Софи даже находит, что я в черном величественна. Ну и прекрасно.

Дом у Плавиковой хорошо держан. Конечно, с претензией. Она иначе не может. Мне показалось, что лакеи напудрены. Недурно было бы напудрить физию Семена.

Приехала я поздненько, т. е. поздненько для сочинительского вечера: в одиннадцать часов. Вхожу. Обо мне не докладывали. Сперва – два пустые зала. Потом – кабинет ее. Тут-то и собирается синедрион, *le réceptacle de l'intelligence* ¹⁰!

Я взглянула: несколько мужских фигур и ни одной женщины. Я обрадовалась, что была в черном.

Madame Спиноза вскочила и начала егозить предо мной. Почему-то даже покраснела. Заговорила она сейчас же по-русски. И так запищала, точно пятнадцатилетняя институтка. Должно быть, так нужно в сочинительском обществе. Такая "ingénue" ¹¹, что твоя Лагранж-Белькур на Михайловском театре! Русский язык очень меня стеснил. Я, конечно, говорю; нахожу даже, что для вранья он иногда приятнее французского; но тут, на глазах всех этих уродов... у меня вовсе нет фраз, я ищу слова... По-французски, по крайней мере, есть готовые вещи, и все их повторяют с незапамятных времен.

Плавикова вздумала представлять мне своих гостей. Как нелепо! Их было человек пять, шесть. Все еще сидели за чаем. Должно быть, они не очень рано собираются, эти оборвыши. Какие растрепанные! И все – в сюртуках. Один был только во фраке. Я где-то видала его. Фамилия его Домбрович.

– "Notre célébrité..." ¹² – шепнула мне Плавикова.

Я, кажется, читала его повести. Теперь помню, что читала. Это еще было до замужества. Тогда мне запрещали читать русские книжки.

¹⁰ сборище разума! (*фр.*).

¹¹ инженеру; простушка (*фр.*).

¹² Наша знаменитость (*фр.*).

Господин Домбрович был положительно приличнее всех. Ему лет под сорок, а может и больше: высокий, худой, большие бакенбарды с проседью, носит *pinse-nez*¹³, часто прищуривает глаза и говорит тихим голосом, но очень забавно. Он меня сразу же рассмешил. *Il a l'usage du monde*¹⁴. Но остальные!!! Ужасны! Один в особенности хорош... В каком-то невозможном сюжете. Мой Семен в сравнении с этим сочинителем – настоящий джентльмен. Фамилии его не припомню. Кажется, Плавикова сказала, что он поэт... Действительно: косматые волосы и грязные-прегрязные пальцы. Этот замарашка очень ломался. Плавикова так перед ним на задних лапках и ходит. Я, разумеется, не сказала ему ни одного слова.

Дали мне чаю. Я прислушалась: разговор шел о какой-то повести. Ничего я не понимала; а удалиться нельзя было: все еще сидели около чайного стола.

– *Chère belle*¹⁵, – обращается ко мне Плавикова, – теперь вы наш человек. Не забывайте наших четвергов.

Косматый поэт громко-прегромко расхохотался... Какие зубы! О ужас! Обращается ко мне:

– По четвергам – секретнейший союз.

Я прекрасно запомнила его фразу. Все рассмеялись. Кажется, это какой-то стих. Но откуда? Не знаю.

Плавикова начала приставать к поэту, чтоб он прочел какие-нибудь стихи.

Как бишь она называла... Ах, Боже мой!.. Так еще важно выговаривала она это слово...

Да, вспомнила: в "антологическом" каком-то роде все она просила. Словом, было скучно, до истерики.

Третий экземпляр: толстый господин, отирал все лоб платком. Ни дать ни взять, швейцар у Софи. Такая фамилия, что я чуть-чуть не фыркнула, когда Плавикова представила мне и этого уродца. Что-то вроде Гелиотропова... Нет, не Гелиотропов. Духовное что-то... наверное, из кутейников.

Он ко мне подсаживается и говорит (о ужас!):

– Вы, сударыня, посещаете комитет грамотности?

– Что-с?

– Не изволите заниматься этим вопросом?

И все отирает себе лоб... Мне даже гадко стало.

Плавикова продолжала приставать к косматому поэту. Он облокотился на стол и сделал пресмешную гримасу: рот скривил и полужакрыл глаза. Должно быть, поэты всегда так читают.

И как он читает! Я лучше прочту. В нос, нараспев, торжественно и глупо.

Все остались очень довольны, кроме меня. Я наконец встала, потому что г. Гелиотропов, сидя около меня, начал как-то сопеть.

Мы очутились в стороне с г. Домбровичем.

Он вдруг мне говорит:

– Я вас видел в *** посольстве.

– Вы бываете там? – вырвалось у меня.

Вопрос был не совсем вежлив. Я даже покраснела.

– Вы очень любезны, – сказал он и поклонился.

– Вы меня не поняли... – начала я оправдываться.

– Очень хорошо понял и вовсе не обижаюсь. Мои собраты сами виноваты, что на них смотрят, как на каких-то иерихонцев.

Я расхохоталась его слову.

¹³ пенсне (фр.).

¹⁴ Он знает светское обхождение (фр.).

¹⁵ Дорогая красавица (фр.).

– Каюсь, – сказала я, – в моей... *ignorance crasse* ¹⁶.

– Нечего вам каяться. Если прелестнейшие женщины (он при этом немножко насмешливо улыбался) читают все на свете, кроме произведений российской словесности, – кто же виноват? Пишущая братия, и никто больше.

Он не рисовался. Все это сказано было шутливым тоном. Некоторые слова произносил он особенно смешно. Я отдохнула от пыхания г. Гелиотропова. Я чувствовала, что этот Домбрович очень умный человек и, вероятно, с талантом, потому что он *une célébrité* ¹⁷. И говорить мне было с ним легко. Он меня не забрасывал словами. Никаких Спиноз и Тимофей Николаевичей не явилось в разговоре. Главное: *mon ignorance ne peçait pas* ¹⁸.

Но эта мягкость, в сущности, смутила меня еще более. Мне делалось все больше и больше совестно, что вот есть же у нас порядочные люди, хоть и сочинители; а мы их не знаем. Да это бы еще не беда. Мы совсем не можем поддерживать с ними серьезного разговора. Этот Домбрович был очень мил, не подавляя меня своим превосходством; но ведь так каждый раз нельзя же. Унизительно, когда с вами обходятся, как с девочкою, и говорят только о том, что прилично вашему возрасту.

Плавикова не пожелала оставить нас в покое. Она начала приставать к Домбровичу:

– Я вас так не отпущу... Извольте нам прочесть ваш отрывок.

Он наклонился ко мне и сказал:

– Простите великодушно. Я в крепостной зависимости у Анны Петровны. Не стесняйтесь, *sauvez-vous* ¹⁹.

Не знаю почему, но мне захотелось послушать его. Плавикова желала, верно, совсем прельстить меня своей любезностью:

– *Chère belle, vous êtes sublime de goût et de modestie* ²⁰.

Что отвечать на такие миндальности? Но Домбрович, подходя к столу, посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

– Тысячи мужчин называли вас красавицей; но я уверен, что ни один из них не знает, в чем состоит ваша красота.

– Это что-то мудрено, – обрезала я его.

– Объяснение впредь, – ответил он смело, но очень мило.

Я рассмеялась. Читал он отрывок из романа; читал без претензий, местами забавно. Стиль его мне понравился; женщины говорят как следует, а не как семинаристы какие-нибудь. После чтения я спросила Домбровича: в каком журнале он помещал свои романы?

– К сожалению, в русском, – ответил он. – Малая надежда, чтобы они попали в ваши руки.

– Я вам пришлю, *ma très chère* ²¹

Какая несносная эта Плавикова! Лезет со своим покровительством.

Домбрович молча откланялся. Мне понравилось, что он не подумал навязывать мне своих сочинений. Ну, и я не стала жантильничать. Очень мне нужно. С ним, правда, довольно весело; но не открою же я у себя четвергов с господином Гелиотроповым.

Ах да! Косматый поэт тут же в меня влюбился и сказал какой-то экспромт, насчет моих "очей", кажется.

Я не скупала. Но хорошенького понемножку. *Cette bohème me répugne, tout de même* ²².

¹⁶ грубое невежество (*фр.*).

¹⁷ знаменитость (*фр.*).

¹⁸ мое невежество не обнаруживалось (*фр.*).

¹⁹ уходите (*фр.*).

²⁰ дорогая, у вас прекрасный вкус и вы поразительно скромны (*фр.*).

²¹ моя дражайшая (*фр.*), у меня все есть.

²² Все же эта богема мне отвратительна (*фр.*).

26 ноября 186* Утро. – Пятница.

Начались маскарады. В прошлом году я ездила с Софи, всего один раз, в купеческий клуб. Мне хотелось видеть Голицынский дом. Удивительно, как это нынче... *tout tombe* ²³. Прелестный отель, почти дворец, и какие-нибудь гостинодворцы закурили и заплевали его...

Дом мне понравился, но самый маскарад – нестерпимая скука. Если б кто хотел узнать степень глупости наших милейших молодых людей, пусть наблюдает за ними в маскараде. Стоят как кариатиды в своих вызолоченных касках со звездой. Подойдешь к одному из них, заговоришь... Улыбнется бараньей улыбкой, промычит не знаю что... вот вам и все остроумие. Какие подурухи могут еще интриговать наших недорослей?..

Но вот что я заметила. Только около француженок и толпятся мужчины. Что уже с ними говорят золоченые лбы, не знаю, но что-нибудь да говорят и даже громко хохочут. Конечно, врут неприличности. Но умеют же эти француженки хоть как-нибудь расшевелить их, по крайней мере, делать их забавными.

В прошлом году, когда у Софи были *jours fixes* ²⁴, как раз в дни маскарадов, к часу все мужчины улизнут. А зевать начинают с одиннадцати. Они прямо говорят, что им в миллион раз веселее с разными *Blanche* и *Clémence*.

А мы сидим как дуры. За всяким выпускным кадетиком нынче бегают и рвут его нарасхват; а как они ломаются! Сделает тур вальса, – точно на веки осчастливит.

Не может же это так продолжаться. Нужно на что-нибудь решиться. Но на что?

Я бы вот что сделала. Сначала бы добилась, какая особенная сласть во француженках и в разных актрисах, на которых теперь, походя, женятся. Вот еще на днях была свадьба: очень милый мальчик, прекрасной фамилии, изволил вступить в законный брак с какой-то девчонкой из Александринского театра!

Я продолжаю: узнала бы я хорошенько всех этих женщин, изучила бы все их нравы, всю бы подноготную открыла: чем они привлекают мужчин. И тогда бы уж можно было их всех прибрать к рукам. Я верить не хочу, чтобы порядочная женщина, с умом, со вкусом не могла... *rivaliser avec une courtisane* ²⁵! Ну еще француженки, куда ни шло! Их здесь мало, многим в диковинку. Но русские актрисы? Это Бог знает что такое! Моя Ариша, я думаю, презентабельнее их. Или опять танцовщицы. На каком наконец языке говорят с ними мужчины? По-французски они не умеют. А по-русски и мы-то хорошенько не смыслим, не только что какие-нибудь кордебалетные девчонки.

И что ведь всего досаднее: об них только и говорят везде, куда ни приедешь... *Prince Pierre* ²⁶ пятнадцать лет жил с танцовщицей, чуть не женился на ней. Некоторые даже обвиняют его, зачем он теперь ее бросил и женился на графине Папуриной. Да разве он один? Подобных примеров не оберешься. Теперь две бывшие танцовщицы – предводительши! Губернские предводительши! *Les plus beaux poms* ²⁷! А те, кто находится в незаконном сожительстве... про них везде рассказывают со слезами на глазах: «Посмотрите, какая любовь. Двадцать лет длится связь. Сколько раз он ей предлагал жениться... Но она так благородна, так любит его... Ей не нужен его титул».

Про нас никто небось ничего подобного не скажет. Добродетели! Ну, какие же могут быть тут добродетели, когда девчонка в театральной школе заранее выбирает себе, кто побогаче?

²³ все в упадке (*фр.*).

²⁴ журфиксы; установленное время приемов (*фр.*).

²⁵ соперничать с куртизанкой (*фр.*).

²⁶ князь Петр (*фр.*).

²⁷ самые славные фамилии (*фр.*).

Мне в прошлом году рассказывал Кучкин: хорошенькая эта немочка, которая танцует в Фиаметте, прямо из школы, в день выпуска, отправилась с конногвардейцем князем Вельским в Малую Морскую, где он ей отдал белэтаж. Девчонка шестнадцати лет!

Да то ли еще рассказывал мне Кучкин. Другая девочка из того же выпуска... Эта похитрее. Сразу не поехала ни с кем и начала поддразнивать своих обожателей: кто больше даст. И Мишель Кувшинин, самый умный мальчик, на прекрасной дороге, теперь назначен куда-то губернатором, предлагал ей сто шестьдесят тысяч выкупными свидетельствами!!

"Единоновременно", как выразился Кучкин.

Это неслыханно, это Бог знает что такое!

И что в них? Я видела несколько раз эту стошестьдесяттысячную. Ободранная кошка: ни плеч, ни рук, ни черт лица. Глупые глаза, большие ноги, рот до ушей! Какие же в них сокровенные прелести находят мужчины?

Я понимаю, что может кадет или офицерик увлечься танцовщицей; но возиться с ними десять, пятнадцать лет, обзавестись целым семейством и нежничать со старой и глупой бабой, которая играет балетных королев... не понимаю. Когда я об этом раздумуюсь, мне страшно досадно.

Нам предпочитают даже цыганок. На железной дороге я видела знаменитую княгиню: красивая, но настоящее цыганское лицо. *Et quelle toilette!* ²⁸ Я думаю, она и русской грамоты не знает. Вот и подите.

После того о француженках нечего и толковать. Они царицы сравнительно с нашими танцовщицами, актрисами, цыганками. Каждый день слышишь ужасные истории!..

Зачем так далеко ходить?

Милая, симпатичная Елена Шамшина. Мы с ней встречались прошлую зиму везде... Какая женщина! Я просто влюбилась в нее. Такая чудная! Вот уже полгода, как она заперлась дома, ревет и тает, как свечка.

Я таки настояла, чтобы она меня приняла, а потом и сама не рада была. Сколько эта женщина выстрадала! Я в первый раз видела, чтоб можно было так любить своего мужа. И кто же этот муж? Олицетворенная солдатчина, "бурбон", как называл таких военных мой Николай, прыщавый, грязный, с рыжими бакенбардами, глупый, пошлый до крайности. Ну, такой человек, что я бы прикоснуться к себе не дала.

И вот полгода, как он объявил Елене, что она ему опротивела, и что он, кроме какой-то *Léontine*, ничего знать не хочет. Да, так и говорит:

– Ты мне опротивела, ты плакса; я и свое и твое состояние ухлопаю на эту француженку; а если ты будешь мне еще досажать – я тебя убью!

И эта прелестная женщина вот что мне говорила:

– *Chère*, я знаю, что я для него не существую. Я бессильна. Пускай его сидит с Леонтиной; но хоть один час в неделю он отдал бы мне, один час. Больше я ничего не прошу!

И тут она мне сказала такую вещь и, главное, таким тоном... я никогда этого не забуду:

– От нас все уйдут, если мы сами не сделаемся Леонтинами!

И я узнала, что Елена была у этой мерзавки Леонтины, в ногах у нее валялась, умоляла ее не отнимать у нее совсем мужа.

Какие гадости!

Есть, стало быть, что-то во всех этих женщинах, есть...

Мне кажется, вот что: все, что в них получше, во француженках шик и вертлявость, в танцовщицах – *le maillot* ²⁹, в актрисах – наружность, голос, молодость, игра... Все это каждый вечер пускается в ход...

²⁸ И какой наряд! (*фр.*).

²⁹ трико (*фр.*).

Ай-ай, записалась до четырех часов, и все это о разных гадостях.

Домбровича я опять видела. В каких он домах бывает! Княгиня Ирина Петровна не принимает le premier venu ³⁰.

И он не то чтобы играл особенную роль, а ничего, приличен.

Просил позволения приехать. Я разрешила.

Кучкина я окончательно отставляю от своей особы.

Кто же меня сведет к Clémence? Я уж до нее доберусь.

Что ж тут долго думать? Я ее узнаю в маскараде и подойду.

4 декабря 186* 2 часа ночи. – Суббота.

Мои головные боли делаются наконец несносными. Встану утром, голова точно пудовик: такую чувствую тяжесть, что не могу ничего сообразить. Ариша меня чешет и спрашивает:

– Что сегодня надеть изволите-с?

А я ничего не могу придумать. Не помню даже, какое на мне накануне было платье. Я начинаю ужасно как гадко одеваться. То в волосы заплету себе Бог знает что: крапиву какую-то; то перчатки надену не под цвет.

Может быть, я еще поглупела после Спинозы. Где мне с такой головой читать мудреные книжки. Я и Поль-де-Кока не могла бы понимать теперь.

Ариша говорит:

– Вы, Марья Михайловна, не изволите гулять; оттого у вас к головке и приступает-с.

Гулять! Никогда я не любила ходить, даже девочкой. Да нас совсем и не учат ходить. Кабы мы были англичанки – другое дело. Тех вон все по Швейцариям таскают. Как ведь это глупо, что я – молодая женщина, вдова, пятнадцать тысяч доходу, и до сих пор не собралась съездить, ну хоть в Баден какой-нибудь. Правда, и там такие же мартышки, как здесь. Поговорю с моим белобрысым Зильберглянцем. Он мне, может, какие-нибудь воды присоветует. Но ведь не теперь же в декабре.

Спала я до сих пор как убитая; а теперь всю ночь не сплю. Так-таки не сплю. Вздрагиваю каждую минуту. Никогда со мной этого не было. Я помню, Николай даже смеялся надо мной. Говорил, что у меня под ухом "хоть из пушек пали". Я, бывало, как свернусь калачиком, так и сплю до утра...

Сегодня у меня такой цвет лица, что хоть косметики употреблять. Правда, я никогда не бывала румяна; но я делаюсь похожа на ногтоед. Скоро я принуждена буду искать темноты. Все это очень невкусно.

К обеду голова у меня немножко проходит; а после обеда опять начнет в виски стучать. Я приезжаю на вечер в каком-то тумане. Чувствую, что ужасно глупа. Я уж себе такую улыбку устроила, вроде того, как танцовщицы улыбаются, когда им подносят букеты. Рот с обеих сторон на крючках. Этак, конечно, покойнее, когда головная боль не дает сообразить, что дважды два четыре; но на что же я похожа? На китайского божка.

Третьего дня я совсем задохнулась в вальсе. В голове сделалась пустота какая-то. Я просто повисла на кавалере. Правда, он был здоровенный. Мы даже уронили какого-то старичка...

На этом самом бале я опять встретила Домбровича. Зачем он всюду шатается? Танцевать не танцует. Наблюдает, что ли, нас? Как это смешно. Эти сочинители, в сущности, фаты, и больше ничего; только и думают о своей собственной особе. На Михайловском театре давали как-то преумную пьеску: "L'autographe". Сочинителя играл Дюпюи. Его очень ловко осмеяли: подкупили горничную, чтобы она притворилась влюбленной. И он поддался на эту удочку.

³⁰ первого встречного (фр.).

Если бы Ариша моя была покрасивее, я уверена, что с г. Домбровичем можно сыграть такую же штуку.

Подходит он ко мне перед мазуркой:

– Мне вас жалко.

– Почему?

– Вы скоро завянете в нашем обществе.

– Как завяну?

– Очень просто... Vous vous étiolez... ³¹

– Как это вы отгадали?

– Это моя специальность.

Рисуется, безбожно рисуется! А впрочем, когда он говорит, у него все выходит просто. Как бы это выразиться... с юмором, да, именно с юмором. У него всегда после умной вещи – un petit mot pour rire ³².

– Мне, многогрешному, позвольте явиться к вам?

– Я уж вам раз сказала, что буду очень рада.

– Да, но я ведь должен был сначала встретиться с вами...

Он посмотрел и прибавил:

– В раззолоченных гостиных.

Я только рассмеялась.

– Вы танцуете мазурку? – спрашивает.

– Нет. Я чуть держусь на ногах... Ужасная головная боль. Я сейчас еду...

– Вот видите, безбородые кадеты снимают сливки, а старые литераторы наводят головную боль... Вы в самом деле больны, перебил он себя, – и я знаю чем.

– Нетрудно знать, когда я вам говорю...

– Вы говорите: – головой; но это только симптом...

Он так на меня прищурился, что мне стало противно.

– Прощайте, – сказала я величественно, сделала шаг и спросила:

– Вы женаты?

– Non, je n'ai pas cette infirmité ³³.

Это он украл из какой-то пьески.

– On le voit. Vous aimez les choses croustillantes ³⁴.

Смеленько было сказано. Ничего; так с ними и нужно.

12 декабря 186* До обеда. – Понедельник.

Все утро вчера металась как угорелая. Я заказала себе домино. Эти мерзкие портнихи вывели меня из терпения своим плутовством. Я придумала себе такое домино, чтоб меня ни один урод не узнал.

Я была похожа, как моя Ариша говорит, "на Кутафью Роговну".

Принесли мне капишон в половине одиннадцатого. Впрочем, я еще успела одеться.

Отправилась я одна, без Семена, в извозничьей карете.

Я никак не ожидала, что такая толпа бывает в этих театральных маскарадах. Сразу меня просто оглушило.

³¹ Вы чахнете (фр.).

³² смешное словечко (фр.).

³³ Нет, я не страдаю этим недугом (фр.).

³⁴ Это видно. Вы любите пикантные вещи (фр.).

Теснота и давка ужаснейшая. Я сделала глупость, что поехала одна. Мне стало очень неловко. Я спросила у капельдинера, где можно взять ложу. Достала я билет. Все бельэтажи были уже заняты. Мне пришлось засесть в ложу первого яруса. Сидеть одной Бог знает на что похоже. Рядом – невозможные маски с пьяными мужчинами... Что делать? Я покорила своей участи.

Сверху узнала я всех наших *mîoches* ³⁵. Но мне было не до них. Я жаждала узнать Clémence...

Вижу около директорской ложи, где самая сильная давка, стоит Домбрович. С ним говорят две маски. Одна – маленькая, в ярко-каштановом домино, с кружевами, очень вертлявая, наверно, француженка. Другая высокая, почти с него ростом, в черном, тоже вся в кружевах. Мне не хотелось верить, но что-то такое говорило мне, что это Clémence. Я довольно насмотрелась на нее: наши ложи, в Михайловском театре, – рядом.

"Как же я пойду к ней? – спрашивала я себя. – Чтоб г. Домбрович меня узнал?.. Ни за что!"

Однако сидеть чучелой в ложе тоже было невесело.

Сошла я и втискалась в толпу. Издали следила я глазами за Clémence. Она все еще стояла с Домбровичем. Кругом теснились разные мартышки, наши "танцующие генералы". Настоящие сатиры...

Я прошла мимо Clémence и даже, кажется, толкнула ее. Она меня поразила своим домино. Какая роскошь! И что за божественные духи! Я до сих пор их слышу. Узнать ее нетрудно. Она была без маски. Двойной кружевной вуаль спущен с капишона, и только. Я нахожу, что это гораздо удобнее. Ведь всех же узнают.

Домбрович меня, однако, не узнал, да он и не глядел в мою сторону. Я, конечно, не посмела подойти сейчас же к Clémence и поднялась вверх к фонтану.

Тут я была свидетельницей премиленького скандалчика:

Какой-то конногвардеец (я его где-то видала) идет с черным домино. По походке – француженка. Шлейф чудовищный. Они шли ко мне навстречу, огибали фонтан сзади. Вдруг другое домино, светло-лиловое, опять-таки француженка, подскакивает к ним, срывает с черного домино маску и – бац, бац! Исчезла она в одну секунду. Я просто обомлела. Офицерик оглянулся и повел свою даму в какую-то дверку, должно быть за кулисы, что ли, оправиться...

Я повторяю, что обе эти женщины были, наверно, француженки. Ту, которой досталась пощечина, я даже видала в Михайловском театре.

Мне сделалось страшно. Так вот они чем привлекают мужчин, эти француженки? Дерутся, как кучера? Но мне пришлось насмотреться и еще кой на что. Когда я пошла вниз, по зале, к тому месту, где поют Декершенки, я заметила, что толпа расступается, и кто-то юлит из одной стороны в другую.

Поднялся шум. Слышен был визгливый французский голос, а потом русский, но тоже женский.

Я пробилась-таки и попала на милую сцену.

Сначала мне показалось, что какой-то мальчик, в бархатной черной куртке и фуражке, держит в своих объятиях толстое, претолстое домино. Домино отбивалось. Кругом стена мужчин... Ржут!

Бархатная куртка болтает картавым языком по-французски попеременно с ломаными русскими фразами.

³⁵ малышей (фр.).

Куртка обернулась... вижу: женщина в крошечной маске. Я ее сейчас узнала. Это знаменитая L***. Она из актрис попала теперь в простые камелии. Une femme abjecte, à ce qu'on dit ³⁶. И какая она дрянная вблизи... худая, как спичка. Губы накрашены до гадости.

Что она выделявала тут! Боже мой! Вскочила на кресло, потом села верхом на барьер ложи, перегнулась так, что я уже и описать не могу, чмокнула какого-то мужчину, соскочила опять вниз и начала снова приставать к тому же домино. Это домино – какая-нибудь купчиха или чиновница. Что у нее был за туалет! В волосы она себе воткнула целый пучок вишен. Эти мерзкие мужчины поддразнивают ее, а L*** начала ее щипать, говорить мерзости. Я кинулась в сторону. Мне стало противно. И как это терпится все? Тут какие-то чиновники в вицмундирах ходят, наконец, полиция!

Впрочем, что ж я спрашиваю? Я нашла в маскараде всех наших "hauts fonctionnaires" ³⁷, и статских, и военных. Я думаю, они бы все пустились канканировать и делать какие угодно гадости с m-lle L***.

Так вот им где весело, всем этим hommes d'état? ³⁸ Вот куда они бегают с наших вечеров! Я нашла всех, решительно всех. И в особенности старичье, les perruques!.. ³⁹ Бrrr!

Но будто им весело? – спрашивала я себя. По крайней мере три четверти мужчин сидят, выпуча глаза, или стоят и глупо улыбаются. Я ни к кому не подходила, и на меня никто не обратил внимания: я была уж очень укутана. На танцы мне не хотелось смотреть. Говорят, что это все наемные танцоры. Из ложи я заметила только одного пьеро. Наверно, куафер. Он меня рассмешил, очень уж ломался, и руками, и ногами...

Я остановилась в раздумьи против Декаршенок. Эта отвратительная L***, со своим цинизмом, обдала меня каким-то ужасом... Ну и Clémence такая же; чего же я лезу? Я уж было на попятный двор. Да и поздно делалось...

Я начала опять искать Clémence. Смотрю направо, налево, нет ее нигде. Так мне стало досадно, что я прозевала на мерзкую L***. И Домбрович исчез. Но вместо него вылез откуда-то Кучкин. Я сейчас же вышла из залы и бегом побежала в фойе. Там еще было много народу. Все пары сидели вдоль стен боковой залы.

Прошла я взад и вперед, нет Clémence. Надо было ехать ни с чем. В коридоре бельэтажа я остановилась и почти спряталась в угол. Из ложи вышел Домбрович со светло-каштановым домино... Капельдинер затворил дверь. Из той же ложи через две-три секунды выходит маска. Повернулась ко мне: Clémence. Я почти кинулась на нее.

– Bon soir, Clémence! ⁴⁰ – крикнула я ей, даже не успевши изменить голоса.

Она встрепенулась, прищурила свои большие глаза, немножко подалась вперед:

– Ah bah! Je ne te connais pas ⁴¹.

– Mais je veux te causer ⁴², – перебила я ее уже не своим голосом.

– Entre dans ma loge ⁴³.

Она пригласила меня рукой. Жест был очень милый, безукоризненный.

"Домбрович может вернуться", – вспомнила я.

– Entre donc! – повторила Clémence.

Сердце у меня екнуло. Я даже зажмурила глаза. Мы вошли в ложу. Там сидел мужчина с большой черной бородой. Смотрел итальянцем. Кажется, я где-то его встречала.

³⁶ Подлая женщина, как говорят (фр.).

³⁷ высокопоставленных чиновников (фр.).

³⁸ государственным мужам (фр.).

³⁹ старые болваны (фр.).

⁴⁰ Добрый вечер, Клеманс! (фр.).

⁴¹ Ах! Я тебя не знаю (фр.).

⁴² Но я хочу с тобой поговорить (фр.).

⁴³ Входи в мою ложу (фр.).

– Cet animal de Dombrovitz court après Fanny, et j'ai un appétit bœuf ⁴⁴.

– Comme une vraie parisienne ⁴⁵, – добавила черная борода с каким-то иностранным акцентом.

– Madame, – обратилась ко мне Clémence, – и указала на кресло. – De quoi s'agit-il? ⁴⁶

Я совсем растерялась. Чувствую: в виски бьет, в глазах позеленело. Девчонка, как есть, деревенская девчонка!

Сижу и смотрю на нее. Как она хороша! Какая турнюра, руки точно из мрамора. Глаза, правда, подкрашены, да кто же нынче не красится? Шея прелестная. Два, три крупных брильянта; ничего больше. Домино облито тысячными кружевами.

– Beau masque, – прохрипел итальянец (я теперь знаю, что это итальянец), – est tu muette?

⁴⁷

Clémence протянула мне руку и очень мило улыбнулась.

– Un renseignement ou un service? ⁴⁸ – спросила она. Первая моя робость скоро прошла.

Я заговорила с ней о Домбровиче. Не знаю уж почему, я схватилась за него; но так вышло. Я сочинила, разумеется, целую историю: будто я его знала когда-то за границей и теперь увидела около нее, в маскараде...

Clémence рассмеялась.

– Si tu me jalouses, – сказала она мне, все с той же милой и даже скромной улыбкой, – tu as tort. Il n'est que mon ami ⁴⁹!

Итальянец расхохотался.

Clémence указала веером на партер:

– Dombrovitz est bien au-dessus de tous ces petits crevés ⁵⁰.

Презирает она, не меньше меня, наших уродов.

– Attends, – продолжала она, – il va rentrer. Nous allons souper. Veux-tu? ⁵¹

Я отрицательно покачала головой.

– Quelle saleté de bal, – выговорила Clémence, ни к кому собственно не обращаясь и немного зевнув. – Pas de cour, pas de gens bien ⁵².

Все это сказано было таким тоном, хоть бы в любую "раззолоченную гостиную", как выражается Домбрович. Ее духи приятно раздражали меня. Ее манеры, голос, интонация... как бы сказать... m'enivraient ⁵³. Да, это настоящее слово!

Она вовсе не стала допытываться, зачем я подошла к ней, кто я такая? Я была деревенская барыня из Тамбова; она – светская женщина, каких у нас нет.

Во-первых, она говорила так, как мы не умеем говорить по-французски. Не то чтобы она очень картавила, не то чтоб она употребляла какие-нибудь мудреные слова; но в ее жаргоне есть что-то особенное... ну прелесть, прелесть!

Она любит говорить. На то она и французенка. Я ожидала скабрёзных разговоров. Она все только говорит о дворе, знает всю подноготную, разные новости о высшей администрации, о посольствах. Этих разных секретарей посольства – она их ни во что не ставит. А уж о барынях

⁴⁴ Это животное Домбрович ухаживает за Фанни, а у меня волчий аппетит (фр.).

⁴⁵ Как подлинная парижанка (фр.).

⁴⁶ Мадам... О чем идет речь? (фр.).

⁴⁷ Прекрасная маска... ты нема? (фр.).

⁴⁸ Сведения или услуга? (фр.).

⁴⁹ Если ты ко мне ревнуешь... ты не права. Он мне только друг (фр.).

⁵⁰ Домбрович намного выше всех этих франтов (фр.).

⁵¹ Подожди... он сейчас вернется. Мы поедем ужинать. Хочешь? (фр.).

⁵² Какая гадость этот бал... Нет двора, нет приличных людей (фр.).

⁵³ опьяняли меня (фр.).

и говорить нечего. Она нас так знает и так смеется над нами, что просто восхищение! И все это без малейшей зависти.

Она говорит как равная. Да и чему ей завидовать? Мужчины, правда, не смеют входить к ним в ложи. Это только особый *genre*; зато в коридоре стоит целая толпа; а к нам в кои-то веки кто-нибудь забредет.

Я просто глазам своим не верила. Как? Эта женщина никого не гнушается, лишь бы получить триста рублей? Меня, по крайней мере, уверяла Софи. Какая же разница между мною и ею? Какая?..

– *Laquelle de nos dames vous plaît le plus?* ⁵⁴ – дерзнула я спросить ее.

– *Il y ici une petite dame dont je raffole. C'est ma voisine au théâtre Michel* ⁵⁵.

– *Pas vrai?* ⁵⁶ – вырвалось у меня, и голос мне изменил.

И тут заговорила она без конца... Разобрала меня по ниточке; каждый волосок, каждую черту! Рассказала даже все туалеты. Начала меня страшно хвалить: она нашла ум даже в формах моей прически. Я совсем сгорела под маской. Сначала я думала, что она смеется надо мной. Но нет, все это было совершенно искренно. Точно будто она меня знает десятки лет. И как она мило сердилась на молодых людей, говоря, что вот есть в Петербурге такие прелестные женщины, как я; а эти "*pinious*", как она выразилась (пресмешное слово!), бегают за танцовщицами. Даже в этом мы с ней сошлись.

Ну, если бы вместо Clémence начала говорить комплименты любая из наших барынь. Как бы все это вышло приторно, манерно, избитыми фразами. А тут ум и такт в каждом слове и артистическое чувство. Хоть и о моей особе шла речь; но так разбирают только знатоки – картины. Да она жизнь-то, жизнь, свет, *le haut chic* ⁵⁷, за которым все мы гонимся, как глупые обезьяны, знает так, что нам надо стать перед ней на колени.

– *Savez-vous l'histoire de la princesse Lise?* – спрашивает она меня... – *Ces lionnes de Petersbourg, sont elles cocasses. Figure-toi qu'il y a une semaine la princesse Lise a voulu, a tout prix, ktre abouchée avec Blanche, ici, dans le bal, pour йtudier le demi-monde. On la présente в Blanche. Blanche est une bonne fille, mais elle a du tempйrament, et sait tris bien river son clou а n'importe que* ⁵⁸.

И она представила в лицах (да как похоже!) жеманную физию Лизы, которая имела глупость войти в амбицию и обижаться выражениями m-lle Blanche. Та ее отдала превосходно:

– *Madame, si vous voulez fréquenter les cocottes, ne faites pas la bégueule!* ⁵⁹

Так их и нужно! Но я-то, я-то! Разве не туда же лезла, куда и Лиза? Если бы Clémence узнала меня, она бы меня презирала так же, как и всех остальных.

– *Cette pauvre Lise n'a pas de chance,* – продолжала она. – *L'hiver dernier, â Paris, au bal de la marine, un homme voûte, en domino, qu'elle intriguait, lui dit de son suisse; va tu veux faire la femme politique tu n'es qu'an" eoeotte* ⁶⁰.

Я была подавлена, просто так-таки подавлена! Да, теперь я понимаю, чем берут эти женщины! Я хочу, я непременно добьюсь того, что буду знать каждый изгиб их ума совершенно

⁵⁴ Какая из наших дам нравится вам более всего? (*фр.*).

⁵⁵ Есть здесь одна маленькая женщина, от которой я без ума. Это моя соседка в Михайловском театре (*фр.*).

⁵⁶ Неужели? (*фр.*).

⁵⁷ высший шик (*фр.*).

⁵⁸ Вы знаете историю с княгиней Лизой?.. Эти петербургские львицы, они просто уморительны... Представь себе, неделю тому назад княгиня Лиза захотела во что бы то ни стало познакомиться с Бланш, здесь, на балу, чтобы изучать полусвет. Ее представили Бланш. Бланш девушка добрая, но с характером и прекрасно может поставить на место кого угодно (*фр.*).

⁵⁹ Мадам, если вы хотите посещать кокоток, не стройте из себя недотрогу! (*фр.*).

⁶⁰ Этой несчастной Лизе не везет... Прошлой зимой в Париже, на морском балу, сгорбленный человек в домино, с которым она интриговала, сказал ей со своим швейцарским акцентом: полно, ты хочешь быть государственной дамой, но ты всего лишь кокотка (*фр.*).

так же, как Clémence изучила мою наружность. Иначе нам нет спасенья! Иначе мы скучные, толстые, тупые, глупые бабы.

Домбрович не являлся. Я вспомнила, что нужно бежать, я рисковала с ним столкнуться.

– Attends donc! – удерживала меня Clémence, – Il va venir, ce vieux farceur! ⁶¹

Я все-таки порывалась.

– Nous nous reverrons? Tu me plais. Qu'est ce qu'il y a dire à Dombrovitz?

– Rien!

– Quoi rien?

– Peu de choses!

– Tiens, nous parlons comme dans la fable du chien en du loup ⁶².

Я даже этого не знала!

Какой ужас: когда я надевала салоп, около меня очутился Домбрович с каштановым домино.

– Vous vous étiolez, madame ⁶³, – проговорил он с усмешкой.

Он узнал меня!

15 декабря 186 Второй час. – Четверг.*

Мне очень хочется спать; но я все-таки запишу сегодняшний день.

Домбрович просидел у меня часа два.

Когда Семен доложил мне об нем, я испугалась: что, если он видел меня в ложе Clémence и узнал еще до той минуты, когда я надевала салоп?

Я запаслась всем своим aplomb ⁶⁴.

Вошел он и скорчил весьма скромную физию. Я его в первый раз видела днем. Он очень уж позапылился. Ему, наверно, больше сорока лет. Лицо все в морщинах, желтое. Мужчины, особливо холостяки, когда зайдут за сорок, делаются похожи на какую-то губку. Черт лица с них и не спрашивай. Нос и рот Домбровича мне как-то особенно не понравились, что-то в них есть... как бы это сказать? Что-то циническое. Зубы у него черные. Хорошо, что он не молодится. В туалете его я не заметила никакого шику. Он одет почти по-стариковски; только в свежих перчатках gris-perle ⁶⁵.

Говорит он очень хорошо. У него совсем особенная манера с женщинами. Он сразу без всяких пошлостей и без умничанья приводит вас в хорошее расположение духа. Сейчас видно, что он на этом собаку съел.

Мне сначала показалось, что он со мной, как с девчонкой, подшучивает. Но нет! Он, когда и рассказывает что-нибудь от себя, держит все тот же тон.

Лазаря я перед ним не пела и не сочла нужным каяться в своем невежестве; зачем же, в самом деле, сейчас же становиться в положение малолетней.

Домбрович сказал мне между прочим:

– Вы первая русская женщина, у которой такая точность выражений. Вы не только не ищете слов; вы даже не поправляетесь никогда. Это – замечательная черта.

Я на это не обращала никогда внимания. Впрочем, кому же и подмечать такие черты, как не сочинителю? Разговор, разумеется, зашел о Плавиковой.

⁶¹ Подожди же!.. Он сейчас придет, этот старый распутник! (фр.).

⁶² – Мы еще увидимся? Ты мне нравишься. Что сказать Домбровичу?– Ничего!– Как ничего?– Пустяки!– Послушай, мы говорим как в басне о собаке и волке (фр.).

⁶³ Вы чахнете, мадам (фр.).

⁶⁴ апломбом (фр.).

⁶⁵ жемчужно-серого цвета (фр.).

Он над ней смеется, хоть и считается ее другом. Да так и должно быть, потому что он умный человек.

– Анна Петровна милая, очень милая женщина, – говорит Домбрович. – Мы с ней давнишние приятели. Она еще девочкой, так сказать, в мое лоно изливала первые слезы над Вертером и над Яковом Пасынковым Тургенева.

Кажется, он так сказал: "Яков Пасынков". Я не читала.

– Но (и он тут очень язвительно усмехнулся). – Но... она потеряла равновесие.

– Т. е. что же? Винтик у нее развинтился?

– Нет, как можно? У нее все в порядке; но, к несчастью, она не умеет себя держать. Ну, скажите на милость, зачем ей принимать разных Гелиотроповых?

Значит, я не ошиблась. Урода, который сопел, зовут, действительно, Гелиотроповым?

– Ведь мало ли, сколько есть народов, марающих бумагу? А милая Анна Петровна умиляется сердцем надо всем, что напечатано гражданской печатью. Г. Гелиотропов писал о Зундской пошлине и об истоках Нила. Я думаю, его самого тошнит от скуки, когда он читает свои статьи.

Я громко расхохоталась.

– Право. И я ума не приложу, зачем ей нужно общество г. Гелиотропова? Я у нее даже спрашивал об этом. Она только поднимает очи горе и каждый раз изволит отвечать: "Ne l'attaquez pas, il est très fort!" ⁶⁶. Ему и самому, я думаю, приходит иной раз вопрос: «зачем я бываю у этой барыни?» Но сердце человеческое так устроено, что играть глупую роль там, где штофная мебель, конечно, приятнее, чем быть первым номером на клеенчатом диване.

Я посмотрела на Домбровича и подумала: "Ну, а ты, мой милый друг, разве не делаешь того же? Зачем ты шляешься по разным великосветским дамам и толчешься в куче нетанцующих мужчин?"

– Нас, литераторов, – продолжал Домбрович, – когда мы попадаем в свет, норовят все показывать, как диких зверей. Вот хотя бы у княгини Татьяны Глебовны. Устроит она праздник. Ну, вы знаете, коли старуха возьмется, так уж по части декоративности будет первый сорт. Вот и разделит она: овча – одесную, козлища – ошуйю. В одном салоне – государственные люди, в другом – юность заставит играть в петижё, в sellette там, что ли, или в secrétaire ⁶⁷, или в подушку, для того, чтобы девицы... когда наклонятся, так чтоб видны были формы.

Я остановила его взглядом.

– Могу вас уверить. Приятель мой Венцеслав Балдевич... Вы не подумайте между прочим, что я поляк: я пензенский помещик. Так вот этот самый Венцеслав Балдевич камер-юнкерскую карьеру свою этим устроил. До такого дошел совершенства в игре подушкой, что как раз все кидал ее некоторой особе и заставлял ее наклоняться. А позади этой особы стоит часто другая особа и смотрит вниз... В третьем салоне поместит старушка сынов Марса. В четвертом для пикантной беседы с дамами выберет:

Сок умной молодежи, —

больше все из пажеского корпуса. Ну, дипломатиков, у кого фамилия пофигурнее. Рядом поместит артистов, больше все еврейско-немецкого происхождения. Эти, впрочем, могут иметь по всем палатам беспрепятственное следование. Сама старушка всегда находится в крепостном услужении у какого-нибудь тапера из иерусалимских ли дворян, из французских ли недоносков. Тут разные художники, или, лучше сказать, стрекулисты, как их народ называет, и гениальные наши космачи, полагающие, что самовар есть высочайшая форма монументального искусства, и мозольные операторы, притворившиеся спиритами, и кого тут только нет.

⁶⁶ Не трогайте его, он очень сильный (*фр.*).

⁶⁷ в скамеечку; в секретер (*фр.*).

Фехтовального учителя из Малой Морской я наверно видел. Зачем уж он попал, я не знаю. Но, кажется, он бывал в качестве заезжего итальянского певца. Об итальянцах я уж и не говорю. На них теперь хоть цена и спала, но ведь от самодержавия сразу-то не отстанешь... Где же литераторы-то? – спросите вы. Я уж чуть не двенадцать гостиных насчитал. А там, за зимним садом. Комната должна была пойти под ванную, да показалась нехороша. Переделали ее в библиотеку, около гардеробных. Вот тут-то и устраивает старушка клетку для сочинителей, разумеется, самых отборных, отменно доброкачественных. Уж я не знаю, как я попал, ей-Богу! Ну и барахтаемся мы в этом живорыбном садке. Оно, знаете, вроде аквариум устроено. Старушка там, беседуя с государственными-то людьми, подмигнет им: «Какого я, дескать, осетра изловила в литературном море. Останетесь довольны». Ну, коли сановники пожелают полюбоваться, она и приведет к садку: «смотрите, мол, какой матерый зверь-то; я, дескать, всякой наукой занимаюсь, не пренебрегаю и этими людишками для декорума!» А то так пришлют молодца: «выбери дескать нам стерлядку аршина в полтора и принеси в лоханочке; хотим побаловаться ущицей». Мы это там у себя в садке грешным делом занесемся, вспомнишь какой-нибудь божественный антик или поскорбишь о том, что стали мы все дураками и невеждами; вдруг является какой-нибудь молодец, по хозяйскому приказу, хоть бы тот же Венцеслав Балдевич, вы ведь его знаете?

– Знаю, – ответила я.

– Я уверен, что если вы что-нибудь слышали по части российской словесности в раззолоченных гостиных, читал при вас, наверно, Венцеслав Балдевич.

– Да, да! – Я рассмеялась.

Действительно, он что-то такое читал у Елены Шамшин.

– Чтец, чтец! Он хоть и польского происхождения, а дикцию себе отменную выработал. Говорю вам: этим да подушкой в люди вышел. От каждой знаменитости по автографу имеет. Тургеневские корректуры я сам у него видел. Как уж он добывает их? – неизвестно. И за то спасибо, что трогает сердца русских дам российской лирой. Раз он при мне с таким томлением читал "На холмах Грузии", что даже я пожелал любить.

– А вы разве перестали любить? – спросила я.

– Не к роже-с. Так вернемтесь к старушке. Вот и является Венцеслав. Ему бы, по шляхетному, следовало именоваться Вацлав. Благообразие удивительное! Сами знаете. Когда он Чацкого играл, все дамы в первый раз застыдились, что не умеют так хорошо говорить на отечественном диалекте. Подойдет тонко, в иезуитском коллегиуме обучался, тоже что-нибудь да значит. Тары-бары, обласкает каждого, так вьюном и вьется; вам самим даже откроет неоценимую прелесть какой-нибудь страницы вашего же изделия. И сейчас наизусть – память удивительная! А никакое сочинительское сердце устоять не может, когда вас самих начинают цитировать, да еще с закатыванием глаз и расширением ноздрей. Ну, и разомлеешь ты. А Венцеслав-то сейчас руку запустит в наш аквариум, нет, нет, да и подхватит одну стерлядку, другую, третью: которая, мол, пожирнее да подлиннее будет, чтобы уж хозяев ублажить как следует. Мы это распалимся: "вот, дескать, светские люди наизусть нам валяют целыми страницами сквернейшей, в сущности, прозы; значит, не все еще погибло!.." Знаете, в буколическом роде размышляем. А молодец-то тем временем изловчился, да хватъ самую свежую рыбицу и подцепил. И поволокут друга милого в салон № 1, где государственные люди, или в салон № 4, где вертоград... я умолкаю, ибо женщину нужно обожать или ненавидеть, но разбирать ее, как "руководство к устройству кирпичных заводов", есть крайняя степень нечестия! – Приволокут аршинную стерлядь и показывают в чистой воде. Старушка на это молодец: все свои люмьеры соберет воедино и начинает вас бомбардировать вопросами: "посмотрите, дескать, какая я: и сочинителя вам показываю со всех сторон, да и сама учу вас уму-разуму". Наш брат тоже всякий раз идет на эту удочку без запинки, чего! захлебывается от наслаждения. И начинает он жантильничать, и так, и этак. Но ведь старушка шутить не любит, у нее все по струнке ходит.

Когда стерлядка дала из себя должный сок, похлебали ухи, ну и вон ее: вываренную кто же будет есть? Опять тем же манером, тот же Венцеслав Балдевич берет вас полегоньку и швыряет подальше. Такая штука продлевается регулярно известное число раз в зиму. Вы, верно, и без меня знаете, что тщеславие писателей пределов не имеет. Да чего!.. Добрейший мой Павел Семенович, вы, быть может, читали его повести? Уж на что, кажется, пропитан цивилизацией! Изъездил весь мир, едал хлеб-соль с первыми умниками вселенной. Раз это попали мы с ним в садок к старушке. Вызвали нас оттуда в салон № 4 к прекрасному полу. Княгиню Клеопатру Антоновну изволите знать?

– Знаю.

– Ведь про нее один француз сказал в Фигаро: "Elle est tellement dinde, qu'après une soirée avec elle on entre au restaurant pour demander les truffes, a part" ⁶⁸.

– Да, он таки не из дальних!

– Совсем уж из ближних, – добавил Домбрович. – И как бы вы думали? Милейший мой Павел Семеныч выказал такое малодушие, что даже противно. Подзывает она меня к себе и спрашивает: "Кто это?" Это, говорю, такой-то наш знаменитый романист. Привскочила. "Представьте мне его. Ах, Боже мой, я плакала над его повестью!" Подвожу. Ну, что уж они там говорили, я не полюбопытствовал. Через десять минут гляжу: мой Павел Семеныч точно именинник, – так и сияет! Перед тем он только что там у нас в зверинце, страшно фрондировал: "Этому болоту, – говорит, – один исход: провалиться и зарости травой; одним презрением, говорит, должны мы отвечать на аристократическую подачку, которую нам бросают". Словом, такой "certificat de civisme" ⁶⁹ представлял, что мне даже стыдно стало. И вдруг, после барской-то подачи этой самой подурухи, мой Павел Семеныч аки медоточивая струя. «Конечно, говорит, этот класс испорчен воспитанием, но он все-таки представляет собою необходимый общественный устой». Вот и подите!

– Как же вы так выдаете своих собратьев? – сказала я.

– Я прежде всего совсем не хочу принадлежать к сочинительскому цеху.

– Почему же так?

– А потому, что он оплеван, не нами-с, а теми, кто после нас пришел. Я ведь уж старик. Я все-таки хотела поймать его и сказала:

– Вы так хорошо знаете свет и так критикуете его, что я, право, удивляюсь: какое удовольствие можете вы находить на балах, где мы пляшем, у разных таких подурух, как княгиня Клеопатра Антоновна?

"На, мол, тебе, раскуси это". Он, однако, нашелся.

– В том-то и дело, – ответил он, несколько прикусивши верхнюю губу, – что я бываю в свете вовсе не в качестве литератора. Разве только на четвергах у Анны Петровны мне приходится быть в этом качестве. Если меня принимают, находят, что я не совсем скучен, не совсем глуп – это все общечеловеческие свойства. Так ли-с? В нашем петербургском свете, вы сами знаете, много смешного, даже уродливого... Если вы позволите мне сказать правду, подчас нет и простой грамотности. Но все это в разницу, вразбивку! Так никакого общества нельзя третировать. Il faut prendre l'ensemble ⁷⁰. Я уверен, что и вы не раз говаривали себе: ах, как скучно в наших салонах, как пошлы мужчины, как несносны барыни, просто некуда деваться. Такие иеремиады, раздаются, правда, больше к весне, когда действительно Петербург становится хуже города Тетюш.

– Ну, – прервала я его, – я и с осени начинаю иногда эти иеремиады!

⁶⁸ (Здесь, игра слов: dinde – одновременно и индюшка, и дура). Она такая дура (индюшка), что после вечера, проведенного с ней, идешь в ресторан и просишь трюфели отдельно (индюшка с трюфелями – распространенное блюдо французской кухни).

⁶⁹ свидетельство гражданских добродетелей (фр.).

⁷⁰ Надо брать в целом (фр.).

– Можно и с осени. Но попробуйте-ка запереться у себя вот, на Английском проспекте, посидите вы неделю, две, а потом не то что к княгине Татьяне Глебовне кинетесь как на какой-нибудь оазис, на первый *soirée causante* ⁷¹ средней руки, где разговором заправляет турецкий атташе – эфенди! Да-с, будьте благонадежны! В целом наш петербургский свет, как и всякое высшее общество, никак не хуже. На мой взгляд, даже гораздо занимательнее лондонских салонов, где скука стоит, как столб пыли, несравненно приличнее шикарных парижских гостиных, где говорят иногда такие вещи вслух... Позволь я себе одну сотую некоторых французских *blagues* ⁷², вы бы приказали вашему служителю препроводить меня до передней. Уж о каких-нибудь дрезденских, мюнхенских, штутгартских салонах я и не говорю. Русский человек, как бы он ни был кроток по душе своей, не может не третировать самых аристократических немецких князей и барынь иначе, как сапожника Шульца и экономку Кунигунду Ивановну. За это карать нас не следует. Немцы нация кнотов. Вы, может быть, не изволите знать значение этого слова? Кнот на студенческом немецком языке значит пошляк, сапожник. У нас есть отличное, подходящее слово, только оно не совсем хорошо пахнет: холуй! То, чем студенты в Гейдельберге и в Бонне обзывают всех бюргеров, то мы имеем полнейшее право применить ко всем немцам, без исключения. Стало быть, Марья Михайловна (он меня в первый раз назвал русским именем), нужно уметь наслаждаться настоящей жизнью. Кисло-сладкими фразами ничего не сделаешь. В таком светском обществе, как наше петербургское, еще можно жить; разумеется, умеючи. Я лично нахожу в нем оригинальные и крупные характеры, есть даже между генералами люди поумнее, может быть, всего «живорыбного садка» старушки Татьяны Глебовны. Наконец... виноват, я хотел сказать прежде всего: целый мир прекрасных женщин. Во мне говорит не селадон, а человек, который любит все живое, все, что принимает оригинальную или изящную форму. Я тут не умничаю, – поправился он. – Это все так просто, как картинки в азбуках: аз – ананас, буки – бык, веи – волк. Вы не можете обойтись без петербургского света? А чем же я лучше вас? Тем, что книжки сочиняю? Так ведь об этом смешно и вспоминать. Я делаю книги, как сапожник делает башмаки. Да к тому же я лет пять ничего не пишу. Вы, пожалуй, можете сказать, что всякий человек должен искать людей своей профессии? Но к своим перам-то, к своей братии я и не пойду. Отчего? – спросите вы. Это длинная и скучная история. Я об ней, признаюсь, говорю иногда с наружным смехом, но почти с внутренними слезами. Может быть, «во едину от суббот» мы дойдем с вами и до этого сюжета. Нынче ведь и в салонах говорят о литературной *bohème* ⁷³, о нигилистах и т. д., и т. д. Мои же сверстники, мои собратья все теперь разбрелись по белу свету и по Елисейским Полям: один в Испании, другой в дебрях... там где-то на Ветлуге, третий в Бадене, четвертый отправился к прародителям. Да кто и здесь в Петербурге, не сразу отыщешь. Есть кой-кто в генеральских чинах, заведуют разными контрольными и хозяйственными департаментами. Я с ними раз в полгода иногда пообедаю. Ну, разбередишь немного солидность его превосходительства, начнет и он рваться на Парнас, вспомнит, как мы в сороковых годах ни больше ни меньше как составляли всю российскую словесность. Мы только и работали. Значит, перов не хватает, а я, грешный человек, люблю на миру жить.

– Merci ⁷⁴, – сказала я, – вы мне это очень хорошо объяснили. Простите за нескромность. В самом деле мне стало совестно.

– Полноте, – ответил он с умной и хорошей улыбкой. – Правда, вы меня заставили говорить о себе. Я этого не жалею, и не к тому я вел речь. В свете было бы очень приятно жить

⁷¹ званый ужин (*фр.*).

⁷² шуточек (*фр.*).

⁷³ богеме (*фр.*).

⁷⁴ Спасибо (*фр.*).

многим, особенно женщинам молодым и... (он помолчал) свободным, как вы, например. Вы когда-нибудь читали Ревизора...

– Гоголя?

Я спросила и покраснела.

– Да, Гоголя.

Он повторил это так просто, что я преисполнилась благодарности.

– Ну, так в этом самом Ревизоре, Иван Александрович Хлестаков говорит, что он "любит срывать цветы удовольствия". Но знаете ли, что срывать их умно и разнообразно – очень нелегкая вещь.

– Так поучите меня...

Он прищурился и помолчал.

– Из вас вышла бы препонятливая ученица.

– Но что же нужно делать? – заторопилась я.

– Очень простую вещь. Тратить свою красоту, молодость и ум так, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы". Жить с прохладцей и, – протянул он, – ничего не бояться.

Он скоро-скоро поднялся.

– Виноват, я вас заболтал совсем...

Что это за человек? Дурной или хороший? Умен удивительно. Il a le don d'asseoir vos idées⁷⁵. Поговоривши с ним, как-то успокоиваешься и миришься с жизнью. У меня даже голова прошла, и я вспомнила все его умные слова. Я бы никогда не сумела сказать по-русски того, что я записала.

И какой у него такт! Я уверена, что он меня узнал в маскарade и хоть бы слово. Всякий другой из наших mioches⁷⁶ начал бы ухмыляться и делать разные глупые намеки.

Вот две личности: Домбрович и Clémence. Конечно, уж позанимательнее очень и очень многих. Clémence сказала про него, что он: "bien au-dessus de ces petits crevés"⁷⁷. Это еще невеликая похвала... Я, признаюсь, ни в одной петербургской гостиной не встречала никого приятнее и умнее его.

С ним я могу встречаться. Ну, а Clémence?

Экие глупости я спрашиваю! Кто же она в сущности?.. Une fille publique!⁷⁸ И больше ничего. Как бы она там ни была... séduisante⁷⁹, что же может быть гаже ее жизни?

Правда, знаю я кой-каких барынь. Немногим уступят Clémence, да все-таки не каждому же продают они себя за триста рублей.

Голова у меня прошла, но надо же лечь спать. Если я по стольку буду все писать, я сделаюсь, пожалуй, сочинительшей.

17 декабря 186* 3 часа ночи. – Суббота.

Как жалко! Степа пишет, что его задержало что-то... на какой-то съезд отправился в Бельгию. Раньше февраля не будет. «А то, прибавляет, не лучше ли уж к весне, чем в распутицу отправляться в деревенские края». Вот я бы его познакомила с Домбровичем. Он, правда, не в таком вкусе, но им бы, по крайней мере, не было скучно у меня.

Прислал мне свою карточку. Я его всегда называю москвой; а он не так уж дурен. Но чего я ему простить не могу, этому физикусу, – это то, что он за мной никогда не приударял, хоть

⁷⁵ У него дар обосновывать ваши собственные мысли (фр.).

⁷⁶ мальчиков (фр.).

⁷⁷ намного выше этих франтов (фр.).

⁷⁸ Публичная девка! (фр.).

⁷⁹ соблазнительна (фр.).

бы немножко. Спрошу я об нем у Домбровича. Как он насчет его сочинений? Наверно, читал же. Может быть, и встречались где-нибудь.

Вот если бы Степа приехал поскорее, эта зима могла бы пройти очень весело. В свет его, конечно, не затащишь. Он будет так же браниться, как и прежде, но я бы его к Плавиковой. Устроила бы себе там свой маленький двор. А в отдалении пускай себе разные Гелиотроповы отирают свои лбы и сапят. Ça aurait du piquant⁸⁰. У себя бы назначила день. Для Степы выбрала бы из барынь кто поумнее. После танцев и всякого пустейшего вранья я хоть бы немножко освежалась.

Вот и можно было бы сделать так, как говорит Домбрович, чтобы и "волки были сыты, и овцы целы".

Я долго думала о его словах. В самом деле, куда я денусь, если не стану ездить в свет? Володька мой – клоп; зачем ему мои попечения? Есть у него нянька, купают его, кормят, про-важивают, дают игрушек, чего же ему больше? Если бы я сидела целый день над ним, дело бы пошло в миллион раз хуже. Я нетерпелива... je lui aurais flanqué des gifles!..⁸¹ Он меня издала и то раздражает своим ревом. Говорить ему еще не стоит: он ничего не понимает; сам тоже пока безмолвствует, когда не ревет... выучил всего одно английское слово от своей няньки: spun!⁸²

Я знаю, что есть у нас барыни... дышат на своих ребятишек, носятся с ними до безумия. Только и говорят, что о баветках. По-моему, это глупо и противно.

К чему драпироваться в свои материнские добродетели? Начать с того: что за чин такой – быть матерью? Кто кормит сам, на тех указывают, как на каких-нибудь фениксов. Я кормила Володьку и, слава Богу, ни пред кем не рисовалась этими приятными обязанностями. Толку все-таки из этого мало вышло. Какая-нибудь толстая солдатка выкормила бы его гораздо лучше. Пожалуй, он оттого такой и плакса, что я его питала не так, как следует. Можно почти наверно сказать, что не так. Я тогда все плакала о Николае, страшно похудела. А доктора всегда говорят, чтобы кормилиц оставлять в покое и делать им всякие удовольствия.

Если бы я кормила Володьку и драпировалась, про меня бы все говорили: "Ah! Elle est sublime d'abnégation!"⁸³. А на поверку-то выходит, что я глупость сделала.

Коли разобрать так разные добродетели, и выйдет вздор, фаза, обезьянство.

Домбрович, значит, прав. Что я стану делать без света? Заниматься хозяйством? Каким? Здесь у себя в квартире все мое хозяйство заключается в горничной Арише, володькиной няньке, миссис Флебс, в прачке Надежде, в человеке Семене, кучере Федоте и поваре Казимире. Команда для одной меня – довольно большая; но она получает жалованье; я продовольствием ее не занимаюсь. Правда, я могла бы поаккуратнее вести счета. Семен меня, наверно, обкрадывает. То же делают и Федот, и Казимир. Но если б я ездила даже сама на рынок (другого средства нет), это бы у меня заняло утром час, не больше. Мои люди стали бы мне грубить на каждом шагу, потому что я их лишила бы доходов. Для Володьки я все сама покупаю. Миссис Флебс – олицетворенная честность. Она за каждую наволочку удавится и считает его белье, конечно, лучше, нежели бы я сочла.

Все это такие мелочи, что больше двух часов в день и не взяло бы, разве уж самой выдумывать какие-нибудь занятия.

Имение?.. Во-первых, я ничего не смыслю. Положим, это не резон: все вначале ничего не смыслят. Во-вторых, оно в руках Федора Христианыча, честнейшего человека. Мой Николай всегда мне говорил: "Маша, если я умру раньше тебя, тебе нечего беспокоиться по хозяй-

⁸⁰ Это было бы пикантно (фр.).

⁸¹ я бы ему надавала оплеух (фр.).

⁸² крутишься; вертишься! (англ.).

⁸³ Ах! Она в высшей степени самоотверженна! (фр.).

ству; не вмешивайся и предоставь все Федору Христианычу. Ты будешь жить, как у Христа за пазухой".

Мне совесть приказывает даже держаться Федора Христианыча. Я владею пожизненно именем мужа. Муж полагался на него, как на каменную стену. Значит, самая лучшая вещь, какую я могу только сделать: удержать все по-старому.

Поселись я в деревне, мне решительно нечего там делать. Главный наш доход с завода, земля вся почти отдается, хутор – больше игрушка. Я его поддерживаю, как память о Николае. Ему хотелось иметь хутор. Все тогда закричали о вольном труде, ну, и он тоже завел...

Федор Христианыч – действительно честный человек. Я к нему чувствую какое-то, как бы это выразиться, благоговение. Да и не одна я. Последний раз, как я была в деревне, весь уезд мне уши прожужжал: "Ваш немец – клад". И как он привязан к нашему семейству! Ему две тысячи рублей предлагали, да какое две тысячи? Двадцать пять процентов давали на другом заводе – нейдет.

Какой же еще рекомендации? Так, зря, не будут хвалить все в голос.

Поселиться мне в деревне – надо строить дом. Во флигеле жить нельзя. А это бы повело за собой расходы. Весь уезд бы стал ездить. Никого не принимать нельзя, умрешь со скуки. И кончилось бы тем, что я бы проживала больше петербургского.

Федор Христианыч доставляет мне аккуратно пятнадцать тысяч. Я не обираю Володьку и пятнадцати этих тысяч не проживаю. Я еще не считала, что у меня остается к 1-му января. Наверно, тысячи четыре. Когда он подрастет, я ему составлю капитал в сто тысяч, даже больше, потому что будешь стариться, меньше денег на тряпки.

Я на них, право, трачу не так, как другие барыни... Тысячи две, может быть, три. А еще находят, что я одеваюсь с шиком. Даже Clémence похваливает. Софи тратит по крайней мере шесть, семь тысяч. Как я ее ни наставляла на путь истинный, она все-таки одевается, как сорока. Я и так переделываю иногда из старого на новое. Все куафюры обдумываю сама. Меня это даже утешает. Если б я вдруг обеднела, я бы могла сделаться *marchande de modes*⁸⁴. Вкусу у меня, конечно, не меньше, чем у всех этих Izombard, которые берут с нас по 50 рублей за фасон.

Я знаю, могут, пожалуй, сказать: чем вам здесь заниматься плясом и делать глазки разным *pinious* (как говорит Clémence), лучше бы поехать в деревню, поселиться там, хозяйство оставить на руках Федора Христианыча, а самой завести школу, больницу... Видела я эти школы и больницы. В школы никого калачом не заманишь, а больниц мужики терпеть не могут. Так давать по рукам лекарства – я нахожу это нелепостью. Мало разве у нас деревенских барынь, которые лечат по книжкам арникой?.. Или опять эта гомеопатия. Боже ты мой милосердный! Я ничего не понимаю в медицине, но уж глупее этого занятия и выдумать не могу! Я нахожу даже, что это своего рода сумасшествие. Как только барыня какая обзавелась аптечкой и лечебником – кончено. Она кидается на каждого, как дикий зверь. Но я думаю, как ни глупа сама по себе гомеопатия, все-таки же нужно что-нибудь смыслить в разных там составах, иметь хоть какое-нибудь понятие, как устроен человек. А то ведь это шарлатанство, и больше ничего!

И выходит, что все эти затеи "только одно баловство", как говаривала нянька Настасья. Бросаются на них в деревне от смертельной скуки.

Я не злая, слава Богу. Я готова помочь всякому. Можно делать добро и в городе. Здесь есть много барынь по добрым делам: приюты разные, общины... Если б представился случай, я не прочь; но все эти добрые дела наполовину мода, реклама, или, опять-таки, спасение от скуки. Подать нищему копейку нетрудно, нетрудно отдать и весь кошелек. Для этого нужно только доброе сердце иметь. Но сделать из благотворительности особую специальность, как некоторые из наших барынь, для этого нужно, как для лечения же, как бы это сказать... принцип, да и взяться надо с толком, а не зря. Да меня сейчас проведут, как маленькую девочку.

⁸⁴ модисткой (*фр.*).

Всякая нищенка, попрошайка вымолит у меня все на свете... и кончается это таким надувательством, что даже смешно. Бегают, хлопочут, устраивают разные лотереи, спектакли, концерты, жантильничают. Боже мой, как они рисуются, эти покровительницы! И раздадут деньги каким-нибудь салопницам, а те их пропьют.

Право, я хоть не участвую в этих добрых делах, а большого угрызения совести у меня нет. По крайней мере, я лишних глупостей не делаю. Вот постарше, когда мне будет под сорок, я тоже, наверно, попаду в попечительницы какого-нибудь приюта и сострою себе на веки вечные такую улыбку... *un sourire de maternité*...⁸⁵ Облекусь в темно-синее платье... *le gros bleu*... *en désespoir de cause*!⁸⁶ в синее... с отчаяния! (*фр.*).

Слышала я про стриженных девиц. Какую-то они там коммуны завели. Что же? Им, конечно, веселее, чем нам. Я в этом не сомневаюсь. Больше свободы... Они нами вряд ли занимаются; а в свете только про них и толкуют... Значит, они одерживают верх, до известной степени... Я их вблизи-то хорошенько не видала... Софи приглашала меня раз поехать на литературный вечер в пользу какой-то не то читальни, не то швальни... Жалею, что не поехала. Там, говорят, все собрались, и стриженные, и нестриженные. И Софи уверяет, что было даже мило. Читал очень смешную какую-то вещь их первый сочинитель. Софи говорит, что он хорош, даже очень хорош собою. Просто красавец. С большой бородой, но приличен... И все эти стриженные так на него и молятся. Софи говорит, что он прелестно читает... Он представлял каких-то пьяных... Скажу я Плавиковой, чтоб она его отыскала... Я не знаю, нигилистка она или нет; но ведь ей все равно. Лучше же красивых нигилистов принимать, чем господина Гелиотропова.

Домбрович очень умно заметил, что этими нигилистами стали везде заниматься... Только об них и говорят... И коли кого бранят, значит, завидуют... Это ясно как день! Я их хорошенько не знаю. Но какое до них дело нашим барыням; а особенно всем этим Кучкиным и разным другим иерихонцам? (Я вспомнила слово Домбровича...) Уж подлинно только, чтоб чесать язык. Все эти девицы без кринолинов (у них губа-то не дура: ходить без кринолинов гораздо шикарнее), говорят, все читают, пишут, переводят, заводят разные мастерские... словом сказать, им весело. Но они совсем другое дело. Это все больше бедные девушки. Чем коптеть в гувернантках, лучше переводами заниматься. Родись я в их звании, и я, может быть, то ж самое делала бы. А то мне вдруг обстричь косу, надеть сапоги и завести швальню?.. Ха, ха, ха! Конечно, можно читать, писать, переводить, не записываясь в нигилистки... Ну, а Плавикова? Вот живой пример. Она и читает, может быть, и пишет, и про Спинозу знает, а ее же приятели и первый Домбрович над нею смеются. Не говоря уже о том, что в свете ее считают дурой, хотя она вовсе не глупа. Как она там ни финти, ни приседай, ни улыбайся, а все же она глупее и менее образованна, чем даже господин Гелиотропов. А ее еще с детства обучали разным наукам. У нее вот какой-то г. Кудрявцев учителем истории был, и все-таки она не может... *elle ne peut pas primer dans sa république des lettres*⁸⁷. И ограничивается это тем, что она пустит в гостиной какую-нибудь фразу, которая поражает присутствующих. Без всякого тщеславия, взять меня и ее: я знаю, что более обращают внимания на меня, чем на нее, хотя я ничего, кроме романов, в жизнь свою не читала. Я думаю даже, что для некоторых барынь я — ученая женщина. Вон Домбрович у меня находит какую-то точность выражений. Стало быть, дело вовсе не в том, сколько кто прочел книжек...

А для собственной охоты, *pour la chose en elle même*⁸⁸, т. е. чтоб быть действительно образованной женщиной, нужно начать с начала. А мы, если б и захотели учиться с аза, остались бы на веки вечные недоумками. У меня, девочкой, правда, была охота читать; но теперь

⁸⁵ материнскую улыбку (*фр.*).

⁸⁶

⁸⁷ она не может первенствовать среди своего ученого сословия (*фр.*).

⁸⁸ собственно, для самого дела (*фр.*).

мне и романы-то в тягость. Взять мудреную книжку и сидеть перед ней четыре часа сряду каждое утро без всякого интереса так же глупо, как и помогать пьяным салопницам. Все, что мне нужно для своего собственного поведения, я это и без книг знаю. *Un peu de savoir vivre et du sens commun!*... ⁸⁹

Я перечла, что написала сегодня. Как это странно! Никто мне не подсказывает, а ведь я пришла к тому самому, что говорит Домбрович. И выходит, что нужно помириться с этим светом, *au risque de chercher midi à quatorze heures!* ⁹⁰

А скука? Он говорит, что скука происходит от неумения взяться... В чем же это уменье?

Ведь если не удариться ни в хозяйство, ни в благочестие, ни в добрые дела, ни в нигилизм, ни в ученость, что же остается? То, что я теперь делаю: танцевать и выделывать коньками свои вензеля? Так ведь это все там, наружи, на людях. А внутри, у себя дома, перед судом совести? Ничего... Так-таки ничего! *Le néant!* ⁹¹

Вот я опять завралась. Совсем не это я должна сказать. Если сама судьба устроила так, что мне следует жить в свете, то моя совесть зависит от меня. Нет ничего глупее, как киснуть и плакаться!

Ну, нет у меня своего очага. Экая беда! Я могу завтра же выйти замуж. Неужели так просто, законным браком, по-мещански, за какого-нибудь сановника или трехаршинного кавалергарда? *En fait de nouveau* ⁹² – и будет одно лобызание!

Во всем, что я здесь разбирала, не было ведь одной вещи: сердца...

Но что ж я с ним стану делать? Неужели мне чувствительность напускать на себя? *Une femme à grandes passions...* ⁹³ Это так отзывается Зинаидой Паклиной. Никогда!

19 декабря 186* Первый час. – Понедельник.

Была я опять у Елены Шамшин. Она совсем потерянная. Пригласила она меня ехать к ее сестре. Мне не хотелось; но она такая жалкая. Я поехала. Попала я ни больше ни меньше как на заседание. Все их семейство занимается спиритизмом.

Сестра Елены совсем уж блаженная. Взяла меня за руку, поцеловала в лоб и говорит мне таинственным шепотом:

– Друг мой, нужно верить.

Во что верить? Неизвестно!...

Они все там святоши: ходят на цыпочках, говорят тихо-претихо, жмут друг другу руки и возводят очи горе. Есть и молодые люди. Я думала, что будут самые настоящие спириты, семейство Никсов и Иксов... Но ни одного Никса не было что-то. У них, верно, особое общество... И такие уж постные рожи у мужчин, что даже противно.

Я говорю Елене Шамшин потихоньку:

– Что бы им монастырскую общину завести?

Она отвечает мне:

– Душа моя, я сама сначала смеялась над ними; а теперь начинаю верить.

Верить, верить! Да во что же верить? Разве это религия, что ли, какая? У меня до сих пор валяется на камине книжка этого Allan Cardec'a... Там все эти глупости расписаны. Я принялась было читать – скука смертная.

⁸⁹ Немного обходительности и здравого смысла!.. (фр.).

⁹⁰ рискуя искать невозможного! (фр.).

⁹¹ Тщета! (фр.).

⁹² И вновь (фр.).

⁹³ Женщина со страстями... (фр.).

Сначала все по разным углам шептались; а потом, после чаю, присели все к большому столу. И пошла потеха!

Сестра Елены вытаращила глаза, начала произносить какую-то молитву на французском языке. Все поникли головами. Эффект был самый глупый. Им бы уж лучше взять себе какого-нибудь аббата, чтоб он им католические проповеди читал... Какая аффектация! Боже ты милосердный!.. Все как-то в нос и с вздыханиями. Я сначала подумала, что это нарочно.

Кто-то мне рассказывал, что английская королева занимается спиритизмом. Английский спиритизм, может быть, поумнее; а уж этот петербургский, признаюсь... Кто-то мне рассказывал также, кажется, Николай: у него прежде имение было в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Так там все раскольники и в каждой деревне баба или девка – пастором, читает молитвы и проповедует. У петербургских спиритов, верно, также старые девы исправляют должность пророчиц.

Сестра Елены смотрит на меня безумными глазами и возглашает торжественно: *Voulez vous communiquer avec l'âme de votre mari?* ⁹⁴

Я ничего не ответила.

– *Pauvre femme!* – застонала опять эта блаженная. – *C'est si naturel!* ⁹⁵

Ничего я не хотела. Я даже и не думала в это время о своем муже.

Пророчица, однако ж, не удовольствовалась. Она меня подцепила под руку и увела в угол. Все остальное общество сидело у стола и ждало.

Тишина такая, что муха пролетит – слышно.

– *Ma chère,* – зашептала блаженная, – надо верить. Без этого мы бессильны привести вас в сношение с душой вашего мужа. Вы должны горячо желать и горячо верить. Тогда все возможно. Дух бесконечен!.. Вы будете в постоянном общении с любимым человеком. И чем сильнее будет разгораться ваша вера, тем легче сливаться с его душой. О! вы не знаете, какое блаженство вас ожидает! Жить двумя жизнями...

– Мне довольно и одной, – прервала я.

– Какая полнота! Без этой блаженной способности люди задохнулись бы в грубейшем материализме! Не было бы никакой надежды... Неужели вы не боитесь?

И она так вытаращила на меня глаза, что мне стало страшно.

– Чего? – спросила я чуть-чуть слышно.

– *Le néant* ⁹⁶. И только здесь вы найдете спасение.

Она встала, поцеловала меня в лоб и, показалось мне, протянула руки, точно будто благословляла меня. Мне было и смешно, и неловко.

– Пойдемте, *ma chère*, не смущайтесь ничем. Слушайте, и когда вы укрепитесь в вере, все вам дастся!

Мы вернулись к столу. Постные физиономии наводили друг на друга ужасное уныние. Сначала блаженная читала чьи-то письма от разных барынь. Два письма были из-за границы. В одном такие уж страсти рассказывались: будто англичанин какой-то вызывает по нескольку душ в раз и заставляет их между собой говорить. "Когда он меня взял за руку, пишет эта барыня, так я даже и не могу вам объяснить, что со мной сделалось". Недурно было бы узнать, что это с ней сделалось такое?

В другом письме рассказывала также барыня, как она виделась со своей дочерью, которая умерла в прошлом году, и даже держала в руках ее игрушку. Эта же барыня рекомендует какую-то книжку. "Непременно, пишет, достаньте, без нее для вас нет спасения". Все слушали с умилением. Кто-то даже прослезился.

⁹⁴ Вы хотите вступить в общение с душой вашего мужа? (*фр.*).

⁹⁵ Бедная женщина!.. Это так естественно! (*фр.*).

⁹⁶ Небытия (*фр.*).

Тут началась самая штука. Чего-чего только они не делали. Но, видно, оттого, что я неверующая, плохо клеилось... Писали, писали разные каракульки... Я шепнула Елене Шамшин:

– Нельзя ли мне Александра Македонского вызвать?

А кто-то вызывал греческого мудреца, уже не помню какого, Платона, кажется. Мне объяснили, что он о бессмертии души писал.

Какая-то истерическая старая дева, зеленая-презеленая, вдруг вскрикивает:

– Боже мой! Я чувствую прикосновение ледяной руки!

Это ее, может быть, кто-нибудь ненарочно схватил под столом... Если мужчина, не поздравляю.

Комната небольшая, адски натоплена, эти спириты надышали; у меня страшно разболелась голова, даже все кругом пошло. Если бы мне предложили вызвать Александра Македонского, мне бы он, пожалуй, в эту минуту и представился.

Я просто убежала из этого сумасшедшего дома.

И все эти люди не безумные же! Кроме спиритизма есть у них и другие занятия... Не знаю... От безделья да от скуки кидаются у нас в Петербурге на такие нелепости... Но как они все втянулись! Точно одержимы духом. Уж я не говорю про сестру Елены Шамшин: она как есть блаженная. Но и другие.

Неужели я могу дойти от скуки до того же самого? Может быть, и они также смеялись сначала над спиритизмом... Смеяться легко; ну, а если б меня заставили серьезно доказать, почему это глупо? Ну, почему?

Вот тут и запятая... Точно то же на каком-нибудь *soirée causante*, когда уж не о чем решительно говорить, начнут, разумеется, говорить о чудесном. Я на свою долю, по крайней мере, раз пятьдесят слышала историю о видении Карла I, которого казнили потом... Ну и кончат всегда тем, что "в жизни человеческой есть нечто сверхъестественное!"

Какой-нибудь умник начнет смеяться, а все-таки ничего дельного не скажет. Возможны ли привидения или невозможны? Кто знает! Да и почему же невозможны? Ведь я так рассуждаю: во всех этих ужасных историях говорится о том, что вот такой-то или такая-то, действительно, видела то-то и то-то. И как я могу вот теперь, сидя в спальне, сказать, что мне ничего не представится. Разумеется, мой Зильберглянец покачает головой и пробормочет: "Это только нерфы, только нерфы!"

Ему все нервы! Станут, пожалуй, уверять, что это белая горячка, сумасшествие. Никто же не войдет в меня; стало быть, и знать не может: привиделось мне от белой горячки или просто в здравом уме?

Quelque chose... ⁹⁷ Но что?

Я вот смеюсь тоже над гомеопатией, смеюсь всегда над магнетизмом. Действительно, я была раз на *séance* ⁹⁸, такая глупость, шарлатанство! Какой-то француз при мне водил, водил руками по ясновидящей, потом взял в рот какую-то маленькую гармонику и начал гудеть. Это, видите ли, чтобы привести ее в восторженное состояние. Уж она кувыркалась, кувыркалась, голову совсем закатаила назад, в глазах остались одни белки. А я подседа к ней, взяла ее за руку и спрашиваю:

– Какие у меня волосы?

Она отвечает:

– Вы блондинка.

Вот вам и ясновидение! Я даже рассердилась. Предлагали этой же девчонке колоть руку. Я ей так булавку запустила, что она закричала благим матом.

⁹⁷ Что-то... (*фр.*).

⁹⁸ сеанс (*фр.*).

Да, все это прекрасно; но я не могу, однако ж, доказать ни другим, ни самой себе, что магнетизма нет. Если есть магнит в природе, должен быть в человеке и магнетизм. Да и гомеопатию объясняют как-то мудрено. Есть даже теперь аптеки и доктора ученые. Не меньше же они меня знают.

Вот то-то и дело, что никто из нас, женщин, никогда ничего хорошенько не передумал. Повторяем, как сороки, одни слова; а что в них такое сидит – не знаем.

И выходит на поверку, что сестра Елены хоть и блаженная, а мне бы не следовало над ней смеяться. Она говорит: верьте. Что ж? Ведь все верят так, как она. В вере не рассуждают. *C'est élémentaire*⁹⁹, как Домбрович говорит: «аз – ананас, буки – бык». Всякому кажется, что его вера лучше веры других. Лютеране считают нас еретиками; а мы их. А раскольники? У меня вон миссис Флебс принадлежит к какой-то секте... я уж и не знаю, как выговорить. Ирвингиты какие-то. Она меня, кажется, хотела обратить... Она говорит, что у них там в Лондоне, когда соберутся в церковь, так находит такой восторг и на мужчин, и на женщин, и начинают они пророчествовать.

Ну что ж я против этого скажу? И почему это умнее, чем спиритизм? По-моему, даже глупее. У спиритов, по крайней мере, сами от себя не пророчествуют, а пишут то, что души им диктуют.

Теперь и то взять. Ведь между этими спиритами есть разные вдовы, матери, дочери. Они не могут помириться со смертью мужа, отца, сына. Это вовсе не смешно. Для них это, в самом деле, утешение. Они живут в это. Действительно, вызывают они души, или так им кажется – это решительно все равно, только бы они были довольны.

Я ведь тоже вдова. Сестра Елены думала, верно, что я неутешная вдова. Было ли бы мне приятно убедить себя, что я могу вызывать душу Николая? Признаюсь, я об этом никогда и не думала. Во-первых, что составляет его душу? Он был очень добрый человек, как мне казалось по крайней мере. Вот все, что я могу сказать о его душевных качествах. Если б он начал со мной говорить, я, право, даже не знаю, о чем бы мы с ним толковали?... Он бы, конечно, справлялся о моем здоровье. Спросил бы меня: "Тоскую ли я по нем?" Обманывать душу – нехорошо. Я бы ему должна была ответить: "Голубчик мой, мне часто бывает очень скучно; но нельзя сказать, чтоб я о тебе много тосковала". Ну, вот он и перестал бы со мной говорить. Ведь если души сохраняют все качества живых существ, как уверяют спириты, Николай мой обиделся бы – и совершенно законно.

Но если можно вызывать души и говорить с ними, они должны ведь видеть ясно всю нашу внутренность, видеть все наши чувства и мысли. Без этого какой же толк в таком вызывании? Стало быть, они вперед знают, что мы им ответим.

Вот я нашла хоть какое-нибудь возражение против спиритизма.

Но все эти блаженные толкуют:

"Мы призываем души, чтобы узнать, что они делают на том свете".

Мой Николай наверно бы мне никаких мудреных вещей не сказал, если он даже и видел души греческих мудрецов. Он был добрый человек; но и только.

Да и наконец, это грех: справляться, что делают души на том свете... *par le spiritisme*¹⁰⁰. Религия не позволяет этого.

Религия! Но сестра Елены и все эти спириты так благочестием и пропахли. Они только и говорят о божественном. Стало быть, можно помирить одно с другим. Уж так и быть, я еще раз отдам себя на съедение блаженной, чтоб она мне все это растолковала.

⁹⁹ Это элементарно (*фр.*).

¹⁰⁰ с помощью спиритизма (*фр.*).

Да, вот мне двадцать два года. Я мать семейства, т. е. я хотела сказать, есть у меня дрянной Володька. Года через четыре надо ведь будет учить его молитвам... Je catéchiser ¹⁰¹.

А что я знаю? Чему я верю? Всякий вот такой спиритизм, вздор, глупость, ставит меня в тупик. В таких вещах надо уж стоять на чем-нибудь твердо. Я вот люблю задавать себе разные вопросы и ни одного из них не умею решить. Этак, конечно, лучше верить, не рассуждая.

Oui, c'est à prendre ou à laisser! ¹⁰²

Я скажу вот еще что: если бы, в самом деле, можно было говорить с покойниками, например, хоть бы мне с Николаем, тогда надо до самой смерти быть его женой духовно. Мне не раз приходило в голову, что любовь не может же меняться. Так вот: сегодня один, завтра другой, как перчатки. Что ж удивительного, если между спиритами есть неутешные вдовы. Они продолжают любить своих мужей... они ставят себя с ними в духовное сношение. Наверно, найдутся и такие, что не выйдут уже больше ни за кого.

Я это понимаю. Я даже одобряю это. Как же бы они стали говорить со своими покойниками, если б их сердце было отдано другому? Да и как вообще можно повторять одно и то же двум мужчинам: сначала одному повеситься на шею, замереть, клясться и божиться в бесконечной любви, потом и с другим тем же порядком? Есть, я думаю, барыни... до двух десятков доходили!

Значит, всем вдовам так и остаться... в девичестве?

Этого требует логика!

Но ведь я говорила о любви. А кто ее никогда не знал, вот хоть бы я, например?

Чувства мои к Николаю я не могу называть любовью.

Какая я смешная. Да почему я знаю, что именно составляет истинную супружескую любовь? Правда, есть неутешные вдовы, а я утешилась. Но тут может быть только разница количественная. Они посильнее любили мужей, я послабее. А все-таки я была жена, сделалась матерью, стало быть, мне следует пребывать в девичестве.

Ну, я уж до такой чепухи дописалась сегодня, надо бы вырвать эти листки.

23 декабря 186* Полночь. – Пятница.

Я очень рада! Теперь я понимаю, что такое Домбрович, т. е. не то чтобы совсем, а все-таки понимаю.

Он у меня обедал один. Я бы, конечно, не позвала его одного, но так случилось.

Ариша пристала ко мне:

– Вам, Марья Михайловна-с, беспрерывно нужно гулять-с. Доктор мне наказывали намеренно, чтобы каждый день вам напоминать-с.

Погода стояла прелестная. Я так люблю свежий снег. Все блестит. Лучше как-то живется.

Я просто совершила подвиг: дошла пешком до Невского. Был час четвертый уж. На солнечную сторону я не пошла. Одной, без человека: все эти миоши пристанут. Иду по тому тротуару, где гостиный. Порядочно устала к Аничкову мосту. Думаю себе: "Ну, если б теперь хоть даже Паша Узлов предложил руку, я бы не отказалась". Одышка меня схватила. На углу Владимирской я остановилась в раздумьи: вернуться мне назад по Невскому или взять по Владимирской? Поднялся маленький снежок. Я надвинула на голову башлык.

– Марья Михайловна! – раздался около меня мужской голос.

Гляжу – Домбрович.

Я очень обрадовалась. Покраснела даже от удовольствия. Провидение посылало мне руку.

¹⁰¹ катехизису (фр.).

¹⁰² Да, надо сделать выбор! (фр.).

Мне очень нравится, что Домбрович называет меня по-русски: Марья Михайловна.
– Какое сияние! – Он всплеснул руками и опустил глаза.
Мой белый башлык расшит золотом. Со стыдом признаюсь, что он мне стоил сто рублей.
– Вы гуляете? – спросила я.
– С наслаждением, – сказал Домбрович. – Не думал встретить вас на этой стороне.
– Я почти никогда не хожу, – перебила я его. – Доктор пристал. Я вышла для моциона, а не для тех иерихонцев. – И я указала на тротуар, через улицу.

Он рассмеялся моему слову.
– Вы теперь назад? – спросил Домбрович.
– Сама не знаю. Зашла так далеко, боюсь, не дойду до дому.
– А моя рука?
Какой догадливый!
– Если б вы мне ее не предложили, я сама бы ей овладела.
Он улыбнулся; но скромно.

На улице, в бобровой шапке и пальто, Домбрович еще ничего. У него хорошая осанка. Мороз поддурманил его немножко. Держится он прямо, не по-стариковски. Я люблю высоких мужчин, не потому, что я сама большого роста, но с ними как-то ловко и говорить, и ходить, и танцевать.

Вот мы и добрались с ним до меня. Потихоньку двигались. Пришли в половине шестого. Дорогой он меня очень смешил, рассказывал все такие забавные анекдоты про разных старых генералов. Один я даже запишу:

Будто бы этому генералу (я его встречала, когда я выезжала с Николаем: он очень недавно умер) принесли подписать бумагу какую-то. Он обратил внимание, как написано слово госпиталя и раскричался: "Вы грамоте не знаете, нужно писать гопепиталь!" – "Почему же, ваше превосходительство?" – "Потому что пишется гопвахта!"

А ведь этот старикашка был *un des hauts fonctionnaires*¹⁰³. Я даже не сделаю подобной *brioche*¹⁰⁴.

Немножко и литературных воспоминаний коснулся Домбрович. Он хорошо знал Лермонтова, был с ним на ты. Какой был чудак этот Лермонтов! Домбрович рассказывает, что одна псковская дама ездила часто к его кухне, *madame В.* (ну, уж я никак бы не сказала, что *madame В.* кухня Лермонтова. Я ее раз встретила на одном вечере... *dans la finance*¹⁰⁵. Бог знает что это такое!) И Лермонтов терпеть ее не мог. Как она являлась при нем к *madame В.*, он отправлялся в кухню, отрезывал там себе огромный ломоть черного хлеба, приходил в гостиную, садился перед ней, молчал и жевал все время, пока она не уйдет.

Подобные вещи прощают великим людям. Но Домбрович говорит, что на Лермонтова смотрели тогда в свете как на гусарского офицера. Он и сам из кожи лез, только бы ему иметь успех у дам. Но бодливой корове Бог рог не дает.

Нельзя же было не пригласить Домбровича зайти и отобедать. Первый раз приводилось мне обедать у себя *en tête-à-tête*¹⁰⁶ с мужчиной. Домбрович все хвалил моего Казимира. Научил меня делать соус к артишокам... по-французски. Дал мне совет не брать красного вина у Елисеева, а брать всегда у Рауля. Он очень, очень приятен, особенно за обедом. Говорит все умные вещи, а есть не мешает. Я очень проголодалась после ходьбы, но слушала его внимательно. У него есть также большой талант заставлять вас говорить. Он любит немножко поврать. Но кто ж из нас, русских барынь, не врет, когда случится напасть на умного мужчину?

¹⁰³ одним из высокопоставленных чиновников (*фр.*).

¹⁰⁴ неловкости (*фр.*).

¹⁰⁵ в министерстве финансов (*фр.*).

¹⁰⁶ наедине (*фр.*).

Я никогда не любила жеманства, это смешная чопорность. Есть вранье и вранье. Домбрович умеет остановиться там, где нужно. Он не оскорбляет моего, как бы это выразиться, – моего эстетического чувства.

После обеда, за кофе у камина, в моем маленьком кабинете мы с ним засели и протолковали битых два часа. Как ведь нетрудно устроить с умным и приятным человеком *un chez soi* ¹⁰⁷... Не хочется ни прыгать, ни болтать о тряпках. Скука и не смеет показываться: она там где-то, за тысячу верст!

Да, прав и сто раз прав Домбрович: мы сами не умеем устроить себе жизнь.

Сегодня мне непременно хотелось вызвать его на более интимный разговор. Он о себе говорить не любит. Уж это он мне раз сказал. Не любит, не любит!.. Он не дурак, чтобы сразу пуститься в излияния. Надо, чтоб его попросили...

Я сумела как подойти. Я вспомнила: в первый разговор у меня он сказал с некоторой горечью, что он не может быть знаком с молодыми сочинителями. Я подумала: "Он, наверно, намекал на этих нигилистов".

Домбрович такой насмешливый, когда захочет. Это еще больше возбуждает мое любопытство.

– Мне кажется, – сказала я ему, притворившись простодушною, – что вы слишком старите себя... ваш ум еще так свеж.

Он улыбнулся и покачал головой, поглядывая на меня немножко исподлобья.

– *Je vous vois venir, madame* ¹⁰⁸, – выговорил он с расстановкой. – Вам угодно, чтоб я начал браниться?

– Зачем же браниться... вы обо всем говорите так спокойно...

– Видите ли, Марья Михайловна, мы теперь попали в дураки. Если бы вы послушали кого-нибудь из новых... *pous ne sommes que des ganaches!* ¹⁰⁹ Никаким вопросам мы не сочувствуем, переплетенных заведений не заводим, и не можем мы никак понять, что такое делается в российской литературе? Я помню, как мы все начинали свою жизнь... Мы не мудрствовали, не разрушали основ, да-с, это такое теперь специальное занятие! Мы обожали искусство. Вера была, огонь, оттого и таланты появлялись... Да вот и теперь еще, на старости лет, возьмешь какую-нибудь сцену... Сганареля, что ли, мольеровского, и хохочешь себе как малое дитя; пред картиной, пред барельефом, пред маленьким антиком простаивали мы по целым часам. Каждую точку, каждый штрих изучали мы с благоговением, да-с, с благоговением! Есть такой немец, Куглер, написал богатую книгу... просто библия для всех, кто изучает красоту... Но, впрочем, что ж это я вам какую сушь рассказываю? *C'est à dormir debout!* ¹¹⁰

– Напротив, напротив! – остановила я, – все это меня ужасно интересует.

– Коли интересует, извольте. Так вот этого самого Куглера мы наизусть зубрили и каждую строчку на себе проверяли. Я помню, как я написал первую повесть, страх на меня напал, сомнение. Держал я ее полтора года. А нынче, как только семинариста выгонят за великовозрастие...

– За что? – переспросила я.

– За великовозрастие, когда его вытянет с коломенскую версту, а он все еще в риторике пребывает, – он сейчас передовые статьи писать. Глядишь, через полгода на него уж все молятся... а мы имели такую глупость: чувствовали священный страх перед печатным словом. Первые-то деньги совестно было и получать. Потом, уж с летами, понемногу мирились с этим. Вот мы какие были глупые. Как же вы желаете, чтобы мы сошлись с этими анахарсисами (я

¹⁰⁷ интимный прием у себя дома... (*фр.*).

¹⁰⁸ Я догадываюсь, что вы хотите сказать, мадам (*фр.*).

¹⁰⁹ мы всего лишь тупицы! (*фр.*).

¹¹⁰ Это же скучища! (*фр.*).

так их называю). Мне скучно, я глуп, я ничего не понимаю во всех этих ргализмах, социализмах, нигилизмах и разных других измах. Все это мертвая болтовня! Талантишку ни в одном на булавочную головку. Что ж и прикажете в мои-то лета поступать в обучение к анахарсисам? Нет-с, забыть следует, что они и существуют! Что такое писатель, поэт, позвольте вас спросить?

Он нагнулся всем корпусом ко мне, точно будто хотел вырвать из меня ответ.

– Я не знаю, – проговорила я тоном маленькой девочки.

– А вот что-с. Художник, артист во всем одинаков. Скульптор какой-нибудь или живописец бьется из-за того, чтоб у него фигура вышла живая, чтоб ее можно было схватить, осязать, чтоб вы видели, как в ней кровь переливается. Больше ничего-с! Точно то же самое и писатель. Клади краски, схватывай жизнь просто, "не мудрствуя лукаво". Чтоб каждое слово было звучно, как нота в аккорде. А нынче нет-с, не так. Нынче повести сочиняются по такому рецепту. На ободранном диване лежит нигилист Синеоков. На столе стоит графин с водкой. Взад и вперед по комнате ходит друг Синеокова Доброзраков, потрясая гривой. Грива должна быть непременно. Синеоков выпил уже пять рюмок и говорит: "пьянство есть порок: но мой организм требует импульса". "Да, – отвечает Доброзраков, запуская пальцы в гриву, – организм прежде всего. Но не подлежит ли он также отрицанию?" "Что ж, – восклицает Синеоков, – давай отрицать и организм!" И на шестидесяти двух страницах друг Доброзраков занимается на утеху читателей отрицанием организма друга Синеокова.

Домбрович одушевился. И так он смешно представлял Доброзракова и Синеокова, что я хохотала, как сумасшедшая. Если б Домбрович не был сочинитель, он мог бы сделаться прекраснейшим актером. Он вовсе не гримасничает, не шаржирует, а выходит ужасно смешно.

– Повесть ли, роман ли, рассказ ли, – заговорил Домбрович уже серьезным тоном, – должны быть написаны с детской простотой, да-с, без всяких тенденций там, прогрессивных идей и всего этого дешевого товара. Тот не писатель, Марья Михайловна, т. е., я хотел сказать, не артист, кто вперед думает, что я, дескать, вот докажу то-то, размягчу сердца, взяточников обличу и подействую на гражданские чувства, *les sentiments civiques*¹¹¹. Это слово нынче каждый гимназист первого класса знает. На русском чистом диалекте это называется цивические молитвы.

– Послушайте, однако, мсье Домбрович, – перебила я, – я с вами спорить не стану, для меня все это ново, что вы говорите. Но когда я читаю роман, для меня интересно видеть: что хочет доказать автор? Какая у него идея? Ведь без этого нельзя же.

– Все должно прийти само собой, – продолжал он еще горячее. – Я на своем веку довольно марал бумаги. Но как я сделался писателем? Приехал я в деревню. Предо мной природа. Не любить ее нельзя. Кругом живые люди. Стал я их полегоньку описывать. Так, попросту, без затей: как живут, как говорят, как любят. Все, что покрасивее, поцветнее, пооригинальнее, то, разумеется, и шло на бумагу. А больше у меня никакой и заботы не было.

– Позвольте, – перебила я опять, – я помню очень хорошо, что девушкой читала ваши повести.

Он молча поклонился.

– И я, как говорится, в три ручья плакала... уж теперь простите меня, я не вспомню подробностей, но идея... сочувствие ваше к бедняку растрогало меня. И я не хочу верить, чтобы вы написали все это так... без всякой цели.

– Клянусь вам Богом, Марья Михайловна!.. Меня ведь до смерти смешили разные критические статьи о моей особе. Чего-чего только не навязывали мне! И высокие гражданские чувства, и скорбь за меньшую братию, и дальновидные социальные соображения, просто курам на смех. Господа Доброзраковы и Синеоковы теперь меня презирают. А ведь им бы нужно было сопричислить меня к лицу своих начетчиков.

¹¹¹ гражданские чувства (*фр.*).

– Что такое? – переспросила я.

– Это у раскольников законоучители так называются. Помилуйте, давно ли я был чуть не революционер, давно ли все кричали, что мои повести, так сказать, предтеча разных общественных землетрясений? И ничего-то у меня такого в помышлениях даже не было. Какое мне дело, пахнут мои вещи цивилизмом или не пахнут, возбуждают они мизерикордию или не возбуждают? Я этого знать не хочу!

Тут я начала чувствовать, что в тоне Домбровича послышалось раздражение. Или он притворялся, или он говорил не совсем хорошие вещи. Я остановила его:

– Позвольте, позвольте. Если вы добрый человек, вам вовсе не все равно, какое впечатление делают ваши повести... служат ли они доброму или дурному делу?

– Добрая моя Марья Михайловна (он так и сказал: добрая моя), вы совершенно правы; но вы меня не так поняли. Когда художник, писатель или живописец – все равно, творит... простите за это громкое и глупое слово, он не должен думать ни о добре, ни о зле... он будет непременно пред чем-нибудь лакействовать, если пожелает что-нибудь такое "выставлять", как говорят в тамбовской губернии. Он будет хлопотать не о том, чтобы вещь была живая, а о том, чтобы понравиться господину Доброзракову или Синеокову. За примером я далеко не пойду. Милейший наш Иван Сергеевич Тургенев. Конечно, изволили читать его повести?

– Читала, – ответила я, – а сама хорошенько не знаю, что я читала из Тургенева.

– Желая ему прожить Мафусаилов век, напишет он еще, может быть, тридцать, сорок томов. А что останется, что переживет его? Одна вещь, и только одна: "Записки охотника". Остальное, все эти вот тенденции, разные "Накануне", "Отцы и дети", все это ухнет. Огромный талант его тут употреблен на то... знаете, как один француз сказал, после представления новой пьесы: "L'auteur mit beaucoup de talent à mal prouver des choses auxquelles il croit peu" ¹¹². Все это баловство, модничество, угождение и тем, и другим, и третьим, чтоб и в салонах вас похвалили, и чтоб г. Доброзраков одобрил, и чтоб наш брат – nous autres ganaches ¹¹³ – восхитились, бесспорно, прелестными подробностями!

Я успокоилась. Может быть, Домбрович и не совсем прав; но он кончил гораздо искреннее.

– Вот вы теперь и видите, Марья Михайловна, – добавил он, – что лучше уж мне встречать вас на танцевальных вечерах, чем отправляться в компанию Доброзраковых.

– Да, – ответила я и даже вздохнула... – Это грустно!

– Грустного тут ничего нет. Мы дело свое покончили; а если русскому юношеству угодно питаться тем, что ему пережевывают все эти анахарсисы, – на здоровье! Теперь, – сказал он после небольшой паузы, – вы уж меня больше не станете исповедовать по части литературы. Сей сюжет столь пресен, что два раза возвращаться к нему нельзя.

"Хорошо, подумала я, этот пункт мы с тобой покончили. Ну, а Clémence и маскарад? Неужели я ничего не выпытаю?"

– Вы не забыли, мсье Домбрович... да как вас зовут по-русски?

– Василий Павлович.

– Так вы не забыли, Василий Павлович, что я – ваша ученица?

– Как так?

– Да как же. Вы обещались учить меня... *savoir vivre*... ¹¹⁴ Признаюсь, если б я встречалась в наших гостиных с такими людьми, как вы, эта наука мне легко бы далась.

"Польщу, мол, тебе, но уж добыюсь своего".

– Невеликодушно, Марья Михайловна, невеликодушно-с.

¹¹² Автор вложил много таланта в плохое доказательство того, во что он сам мало верит (*фр.*).

¹¹³ все мы глупцы (*фр.*).

¹¹⁴ умению жить... (*фр.*).

Он покачал головой и надел свой *pinse-nez*.

– Вы знаете, только одних стариков хвалят в глаза. Это уж последнее дело.

– Полноте, вы очень хорошо видите, что я не жантильничаю с вами. Я много думала о том, что вы мне говорили. Вы совершенно правы. Надо остаться в свете. За все другое уже поздно схватываться.

– Мудрые речи приятно и слушать.

Он рассмеялся.

– Теперь дело только в том, чтобы распределить поумнее свое время.

– Так точно-с.

– Плясать семь дней в неделю я не желаю.

– Похвально-с.

– Да полноте. Я рассержусь. Я вам серьезно говорю.

– Слушаю-с, слушаю.

– Вот мои занятия на всю неделю: в понедельник...

– Пляс?

– Да, пляс. Во вторник...

– Пляс.

– Не всегда.

– Дальше.

– В среду... в среду мой абонемент. Я нынче не бываю по понедельникам. Мне слишком надоели...

– Ла Варинька направо и Лиза налево? – подсказал он.

– Ха, ха, ха! Именно.

– Резон.

– В четверг я буду ездить к Плавиковой.

– Ну, это напрасно.

– Как напрасно?

– Впрочем, если вы желаете специально изучать г. Гелиотропова, отчего же нет?

– Ах, Боже мой, вы сами себе противоречите, Василий Павлович.

– Каким же это образом?

– Какая бы там ни была Плавикова, наивная или нет, но у нее все-таки собирается *la république des lettres*.

– Не извольте браниться.

– Я хочу хоть на первое время бывать у нее... она меня очень любит... а к Гелиотропову я как-нибудь привыкну.

– *Je plaide votre propre cause, madame* ¹¹⁵. Если же вы упорствуете, тем приятнее...

– Значит, четверг у Плавиковой.

– У Плавиковой.

– В пятницу...

– А пляс-то вы забыли? Ведь целых два дня прошло.

– Ах, в самом деле!.. Никак нельзя... зато в субботу я никогда не пляшу. Это мой день в Михайловском театре.

– Ну, а после спектакля разве нельзя?

– Случается, но очень, очень редко... Вот и вся неделя. Остается воскресенье... оно проходит всегда... не знаю как. Это такой бестолковый день!

Я нарочно помолчала и прибавила:

– Разве заглянуть... в маскарад...

¹¹⁵ Я высказываюсь в вашу же пользу, мадам (*фр.*).

– А вы бываете? – спросил Домбрович, не поднимая головы.

– Нет, но для изучения нравов... Вы иногда заглядываете?

– Я даже люблю маскарады, – ответил он самым спокойным тоном. – Вы знаете, седина в бороде... Я и всегда их любил. Только ведь в маскарадах можно видеть такой набор оригинальных и прелестных женских типов, да-с. Я немало ездил по белу свету на своем веку. Поверьте мне, что ни в одном городе в мире, ни в хваленном Кадиксе, ни в Венеции, ни в Вене, ни даже в Лондоне... о Париже я уж не говорю... не попадается таких прелестных женщин, как в Петербурге. Здесь смешанная порода, и она дает прелестные экземпляры. Полунемецкий, полупольский, полуславянский тип. Какая тонкость черт! Какой изгиб стана! Какая роскошь волос!

– Какая восторженность! – вскрикнула я.

– Простите, я художник. Так вот в маскарадах-то и выползают из разных мест прелестнейшие женщины: чиновницы из Коломны, гувернантки с Песков.

– Да как же вы их видите? Ведь они под масками.

– Не всегда же они под масками. Настает же такая минута, когда... и снимают маску.

– А!

– И вот мое многолетнее наблюдение: светские женщины, когда попадают в маскарад, ведут себя непозволительно.

Я почти покраснела.

– Т. е. как же это непозволительно?

– Т. е. скучно и бестактно. Кто-то им натвердил, что в маскараде нужно пицать и говорить о чувствах. А если попадется сочинитель, то допрашивает его, что он пишет. Уж скольких я обрывал на этом сюжете, и все-таки до сих пор приходится страдать. Поэтому я уж и держусь больше иностранок.

– Француженок? – спросила я не без смелости.

– Как придется. Теперь уж я старик, так соотечественницы мало интересуются моей сочинительской фигурой. Тут как-то в театральном маскараде говорили мне, что какая-то маска меня искала, приехала из деревни, кажется... Весьма лестно!

Я была как на иголках и начинала немножко сердиться, что он со мной точно с девчонкой. Я не вытерпела.

– Василий Павлыч, – сказала я ему, – вы хотите играть со мной, как кошка с мышкой; а ведь это нехорошо!

– Что такое-с?

– Да то-с (передразнила я его), что вы меня узнали в этом самом маскараде. Мало того, что вы меня узнали; вы, конечно, догадались, что спрашивала я о вас, спрашивала у Clémence, чтобы найти предлог войти к ней в ложу.

Он встрепенулся. Я увидела в глазах его что-то похожее на удивление.

– Вы мне сами посоветовали ничего не бояться. Я и не боюсь.

И тут я рассказала ему начистоту: как мне хотелось говорить с Clémence и все, что я видела и слышала в ее ложе. Говорила я долго и даже очень горячо. Как это странно! Я почти с наслаждением рассказала малейшую болтовню, все, что мне понравилось в Clémence.

Когда я кончила и взглянула на Домбровича (на этот раз совершенно спокойно и смело), он одобрительно улыбался.

– Чего же лучше? Вы, Марья Михайловна, сразу достойны золотой медали. Вам хотелось иметь понятие об этих женщинах. Такое желание вполне законно. Вы поняли то, что все светские женщины давно бы должны были понять. *Ce sont les Clémences qui tiennent le haut du pavé*

¹¹⁶. Чья вина?

– Наша! – вскричала я.

¹¹⁶ Именно эти Клеманс занимают первое место (фр.).

– A la bonne heure! ¹¹⁷ Эти женщины в своем роде артисты. Мне нечего распространяться, я вижу, что вы лучше меня вашим инстинктом поняли, в чем их сила.

– О, да! о, да! – повторяла я со вздохом.

– Вы, конечно, не можете посещать их салоны. У них ведь свои салоны и еще какие; но вы нашли безопасное место и разглядели Clémence в подробностях. Но главное, вы вели себя как умница, да-с, позвольте вас погладить по головке, не так, как княгиня Лиза. Вы приехали в маскарад с определенной целью: доставить себе новое и оригинальное ощущение. Так ли-с?

– Да.

– Вы не пошли пицать и интриговать вашего покорного слугу, экзаменовать его насчет умственных способностей или разбирать чувства с корнетом фон дер Вальденштубе. Вы улучили минуту, выбрали весьма правдоподобный предлог, за который я целую ваши ручки, и вы веселились как нельзя лучше. Словом, вы были умница от первого шага до последнего.

Он так мило все это говорил, без малейшего смеха в голосе... самым убедительнейшим тоном. Я даже возгордилась.

– Да, вам нужно дать золотую медаль. Делайте из каждого вашего вечера такое полезное употребление, и вот вам решение загадки. Вы не будете прозябать, вы будете жить и наслаждаться. Еще одно слово: простите меня великодушно! Я поступил с вами по-сочинительски, перехитрил. Лучше сказать: я не знал еще...

– Что я такая умница?

– Именно. Моя фраза на подъезде была нескромность; мне следовало или заговорить с вами, как с Марьей Михайловной, или сделать вид, что я вас не узнал. Преклоняюсь перед вами и приношу повинную голову.

– Напротив, – заторопилась я, – вы были так деликатны в тот раз и даже ни одним намеком...

– Полноте. Все это только уловки старого холостяка. Этот вопрос покончен, сдадим его в архив и продолжаем...

– Наш урок, – перебила я.

– Какой же урок? Вы умнее меня. Наш, как бы это выразиться... анализ.

– Да! Я вот что хотела вам сказать. Положим даже, что в этот маскарад я себя вела неглупо. Но ведь это всего один раз. Нельзя же все изучать разных Clémences. Несколько дней в неделю идет у меня на пляс. Вы сами знаете: что там отыщешь нового? Все те же кавалеры, те же барыни, les mêmes cancans et la même vanité ¹¹⁸. Хотя бы я была Бог знает какая умница, – из них ничего нового не выжмешь.

– Вы меня предупреждаете, Марья Михайловна. С вами беда. К этому-то пункту я и хотел прийти. Разнообразить надо впечатления и людей. Вы любите еще поплясать. И прекрасно. Выберите несколько самых блестящих домов с первыми мазуристами и вальсерами; но не ограничивайтесь этим.

– Куда же я еще пойду?

– Поискать – найдется. Ведь согласитесь, с самой умной женщиной вам все-таки наконец будет скучно.

– Конечно.

– Значит, надо искать мужчин. На балах вы блистаете, вы танцуете, вас крутит в вальсе корнет Вальденштубе. По этой части он отменный экземпляр. Но у всех истых танцоров la compagne est un peu difficile ¹¹⁹, как говорят в Марселе. А в антрактах между танцами вы так устанете, что вам уж не до разговоров.

¹¹⁷ В добрый час! (фр.).

¹¹⁸ те же сплетни и та же суета (фр.).

¹¹⁹ недостаток сообразительности (фр.).

– Ах, как это правда!

– Чтобы дать себе значение и пользоваться как следует даже всеми этими танцорами, их нужно держать от себя на известном расстоянии. А то они нынче так ломаются с прелестнейшими женщинами, что даже гадко и смотреть.

– Ах, и то правда!

– Как же поставить себя в такое положение, чтоб корнеты Вальденштубе смотрели на вас снизу вверх? Очень просто. Нужно найти другие гостиные, где вы сначала, может быть, поскучаете, но потом будете окружены, что касается до мужчин, всем, что у нас только есть лучшего, *comme lumières et jargon* ¹²⁰. Есть такие дома, которые дают женщине хорошее положение в обществе. И если она сумеет подойти к их тону, особенно в торжественные дни, то ее положение определено и ей еще веселее и, может быть, еще удобнее будет срывать цветы удовольствия.

– Чтобы "овцы были целы и волки сыты"? – спросила я и рассмеялась.

– Всеконечно. Вы такая умница, что за вами не поспеваешь.

– Вы опять-таки правы, Василий Павлович. Когда я попадала на важные рауты, я чувствовала, что мы, молодые женщины, играем Бог знает какую роль! Все эти молокососы: разные дипломатики, лицеисты, так и приседают пред старухами.

– Вот видите. А ничего не стоит переделать все это. Вы знакомы с Вениаминовой?

– Кланяюсь.

– Чего же лучше? Начните с ее дома.

– У-у! Это уж слишком великопостно... Вы там бываете?

– Бываю.

– Я подумаю.

Он ушел в одиннадцать часов. Право, он хороший человек; а как умен!

3 января 186* После обеда. – Вторник.

Была я у Вениаминовых. Сначала поехала с визитом. Что это за женщина? Я ее совсем не понимаю. Она ведь по рождению-то из очень высоких. Все родство в таких грандэрах, что рукой не достанешь! Сама она, во-первых, так одевается, что ее бы можно было принять за ключницу. Принимает в раззолоченной гостиной, как говорит Домбрович, а уж вовсе не подходит к такой обстановке.

Я ее всегда побаивалась. Она слишком резка. Она всем говорит в глаза невозможные вещи. Я даже не нахожу, чтоб ее резкости были умны. За это, может быть, ее и уважают. Разумеется, если б она не была урожденная светлейшая княжна Б., ее бы послали к черту на кулички.

Но ведь наш петербургский свет ползает не только перед Вениаминовой, но пред каждой дурой *qui pose...* ¹²¹

Что это я сегодня какая злая? Верно, на меня пахнуло великопостным благочестием. Не знаю. Может быть, я ничего не смыслю в людях. Но такие личности, как Вениаминова, или очень недалеки, или очень сухи. Про нее говорят, что она делает много добра. Ну, так она напускает на себя особый жанр. Я этого очень недолюбиваю.

Все равно, я послушалась Домбровича и обрекла себя...

Вениаминова принимала меня не в гостиной, а в кабинете. Как это смешно! Вижу: большой портрет в овальной золотой раме висит над письменным столом. Портрет очень хороший: лицо так и смотрит, как живой. Какой-то черноволосый барин, очень мрачный, с редкой бородой и глубокими глазами, сложивши руки на груди.

¹²⁰ и познаниями, и жаргоном (*фр.*).

¹²¹ которая позирует (*фр.*).

Вениаминова заметила, что я пристально поглядела на портрет.

– Вы его не знали? Ведь это Алексей Степанович. Беда! Опять этот Алексей Степанович! Я скорчила пресерьезное лицо и кивнула головой.

– Похож, – полувопросительно выговорила я.

– Как две капли. Он такой был до самой смерти.

Хорошо, что я хоть это узнала: Алексея Степановича больше нет в живых.

Вениаминова верно считает меня литературной женщиной. Она вдруг начала со мной говорить о русских журналах. Вот уж попала-то. Но какие она выражения употребляет, о-ой!

– Все, что теперь пишут, все это – навоз!

Так-таки и сказала: навоз. И не думала сконфузиться.

– Я вам, *ma chère*, вот что скажу, – заговорила она громко-прегромко, даже все жилки у нее на лбу налились, – Гоголь только и написал порядочного, что "Тараса Бульбу" да "Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановной". А потом все эти "Ревизоры" и "Мертвые души"... это позор... скажу больше: это может только враг отечества своего набрать столько грязи. Я сама ему это говорила в глаза, и он меня слушал!

Зачем это она мне все выпалила? Ничего я этого не знаю и проверить не могу: слушал ее Гоголь или не слушал? Но уж тон у нее, признаюсь... уже нельзя грубее. Где она выучилась так кричать? Я про нее слышала от кого-то, что она была держана ужасно строго. Мать их, светлейшая-то, держала ее и сестру ее до двадцати лет в коротких платьях. Этикет был как при дворе. И после такого воспитания она говорит: навоз!

C'est peut être sublime de simplicité, mais ça sent mauvais ¹²².

Я бесилась на самое себя, когда сидела у Вениаминовой. Что я там забыла? Зачем я лезу? Неужто из-за того только, что Домбровичу вздумалось присоветовать мне посещать дома, которые дают вам положение в свете? Отчего я никогда хорошенько не пораздумаю о том, что, может быть, в свете на меня смотрят как на выскочку. Я вошла в петербургский свет через мужа. У Николая очень хорошее родство, это правда. Но мне самой нужно почаще напоминать о себе, а то меня как раз и забудут.

Однако я не хотела, чтоб мой визит Вениаминовой пропал даром. Я сделала препостынную физиономию и говорю ей:

– Я всегда так желала чаще видетсья с вами, просить вас посвящать меня в ваши интересы.

– Приезжайте, *ma chère*, приезжайте. У меня всегда бывает кто-нибудь, по воскресеньям. Мещанский день. Только вам ведь будет скучно. Не говорят о тряпках!

Я нашла нужным немножко обидеться; но сказала весьма смиренно:

– *C'est précisément pour ça que je sollicite votre indulgence!* ¹²³

– Без фраз, моя милая, без фраз. Вы мне нравитесь. С вашей красивой рожицей (она так и сказала: рожицей) вы могли бы быть олицетворенная пустота. А вы еще серьезнее других. Мне с вами нечего церемониться. Я всем говорю правду.

Это очень удобно: говорить правду! Не начать ли и мне третировать всех, как мадам Вениаминова? Надо только помогать больше разным салонницам, чтоб про вас говорили: она святая, а потом и рубить направо и налево: "Вы пишете навоз, вы не так глупы, как я полагала, у вас недурная рожица и т. д. и т. д.!"

Я нахожу, что у *Clémence*, хотя ее *тапан*, вероятно, и не была светлейшая княгиня, тон такой, что Вениаминова не годится к ней и в кухарки.

¹²² Возможно, это в высшей степени простосердечно, но это дурно пахнет (*фр.*).

¹²³ Вот именно поэтому я прошу вас быть снисходительной ко мне! (*фр.*).

Пришло и воскресенье. Я поехала скрепя сердце. Вечером у Вениаминовой просто-напросто – смертельная тоска. Или, может быть, я так глупа, что не понимаю: в чем состоит высокий интерес этих вечеров?

Из барынь были какие-то три фрейлины, старые девы, в черном, птичьи носы. Говорят протяжно-протяжно и все только о разных кне-езь Григорьях... да о каких-то "католикосах"... Были еще две накрашенные старухи. Несколько девиц, самых золотушных. У Вениаминовой дочь, девушка лет пятнадцати. Они играли в колечко, кажется. Муж Вениаминовой точно фарфоровый, седой, очень глупый штатский генерал, как-то все приседает. Кричит не меньше жены. Все, что я могу сказать об этом вечере: подавали мерзейшие груши, точно репа.

У Вениаминовой: в ее гостях, в прислуге, в детях, в мебели, в особом запахе, который стоит по комнатам, во всем есть что-то тяжелое, подавляющее, что-то отзывающееся святошеством. Мало того, фальшиво все это! Уж по-моему, если в евангельской чистоте жить, так зачем собирать титулованных обезьян и предаваться, в сущности, такому же тщеславию, как все мы грешные, если еще не похуже?

Мужчин было очень мало. Я даже и не разглядела их хорошенько.

Домбрович приехал часом позднее меня. Я с ним села к окну и принялась пилить его:

– Ну, уж ваша Вениаминова!

– А что?

– Кухарка. Говорит грубости...

– Это ничего. Она бесподобная женщина. У нее, во всем Петербурге, только и есть такой aplomb...

– Поздравляю!

– Вы смиритесь, – укрощал меня Домбрович. – Если она будет с вами хороша, вы тогда разглядите ее ближе, она интереснейший субъект. Вы должны сразу помириться с ее манерой. Но в этом-то и заключается вся сласть. Поверьте мне: кто не бывал здесь в воскресенье, мужчина ли, барыня ли, тот, как бы вам это сказать... не имеет точки опоры.

– Je m'enbête tout de même! ¹²⁴ – капризничала я.

– Сразу нельзя же. Обтерпитесь. Вы посмотрите-ка вон на тех трех траурных птиц. Не бегайте от них. Вступите с ними в благочестивую беседу. Чего-чего вы не наслушаетесь.

– Где же ваши хваленые мужчины? – спросила я.

– А вот вам первый.

Он встал и пошел навстречу к какому-то мужчине. Я взглянула: лицо знакомое.

– Я вам не представляю графа, – сказал мне Домбрович, подводя этого барина.

Этот граф приходится как-то родственником Вениаминовой. Он сочиняет разные романсы. Кажется, написал целую оперу. Он такого же роста, как Домбрович, только толще и неуклюжее его. Лицо у него красное, губастое, с бакенбардами и нахмуренными бровями. Словом, очень противный. С Домбровичем он на ты. Подсел ко мне, задрал ноги ужасно и начал болтать всякий вздор. Его jargon в том же роде, как у Домбровича, но только в десять раз грубее. Он как сострит, сейчас же и рассмеется сам. А мне совсем не было смешно.

Я его попросила спеть. Голоса у него никакого нет. Спел он какую-то французскую песенку, довольно-таки двусмысленную. В зале никого не было; а то бы оно совсем не подходило к великопостному бонтону и укусным фрейлинам.

Одно утешение, что к Вениаминовой никакая выскочка уж не попадет. On s'ennuie, mais on s'ennuie honorablement! ¹²⁵

¹²⁴ Мне это тем не менее скучно! (фр.).

¹²⁵ Все скучают, но скучают по-благородному (фр.).

Утешение небольшое. Мне кажется, впрочем, что Домбрович смеется и над Вениаминовой. У него не разберешь сразу. Он об ней говорит как-то странно. Сам он ездит в этот дом только затем, чтобы удовлетворить своему тщеславию.

Впрочем, я, может быть, к нему чересчур строга. Он вообще добрый малый.

Вениаминова представила меня одной из нарумяненных мартышек. Зачем она их собирает? По добрым делам, что ли?

– Как вам угодно, – сказала я Домбровичу, – а каждый вечер я сюда ездить не буду.

– Стерпится – слюбится, – подшучивал он.

Вениаминова к нему не то что с респектом, а не так, как с нами, ни разу не сказала: навоз. Правда, Домбрович умеет с ней говорить. У него пропасть такту. С такой барынькой, как Вениаминова, не очень-то легко найти настоящий тон. К чести своей я скажу, что я не подделывалась ни к хозяйке, ни ко всей ее гостиной.

Вот посмотрю, поможет ли это мне срывать цветы удовольствия?

Я вспомнила: хотела бы знать, как Домбрович смотрит на замужество? Недурно было бы прочесть ему весь тот вздор, который я написала, вернувшись со спиритизма. Я уж с ним потолкую об этом. Наверно, он смотрит по-своему... У него так много оригинальности, об чем бы он ни говорил.

Как прохладительное, – вечер у Вениаминовой очень полезен. Неужели я буду ездить в эти великолепные сборища затем только, чтобы корнет Вальденштуб смотрел на меня снизу вверх?

Домбрович, уж конечно, не глупее меня. Стало быть, надо пока помолчать и подождать: что будет.

Утешительно!

6 января 186 5-й час. – Пятница.*

Была на пикнике. Ездила к Огюсту. Я ужасно люблю скорую езду; только мужчины достались нам в сани уж такие... неотесанные. Они скоро дойдут до того, что совсем перестанут с нами стесняться. По крайней мере, половина была навеселе. Бог знает что такое!!! Один кирасир какой-то сидел против меня в санях и все мне жал ноги. И что за нахальные рожи! Не следовало бы мне совсем ездить на этот пикник. Кататься я могла бы одна отправиться. Устраивал его Кучкин. Софи ко мне пристала. С тех пор как я ее увидела у него на коленях, мне ее и жалко, и противно. А нет характеру, чтоб держаться вдалеке от всей этой дряни. Фу! как я начинаю браниться! Не хуже Вениаминовой. Вот что значит поесть дряблых груш на великолепном вечере. От Софи я никуда не убегу. Мы с ней танцуем на одних вечерах. Да и чересчур глупо было бы исправлять ее. А где Софи, там и Кучкин.

На пикнике был как раз корнет фон-дер-Вальденштуббе.

Он – длинный-предлинный. По-французски говорит преуморительно. Как есть курляндский барон. Танцевать с ним очень удобно. Напрасно Домбрович беспокоился. Этот Вальденштуббе всегда питал ко мне великое уважение. Когда посадит на место, отвесит каждый раз низкий, пренизкий поклон. По части разговоров сей корнет больше мне все предлагает свои услуги в верховой езде.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.